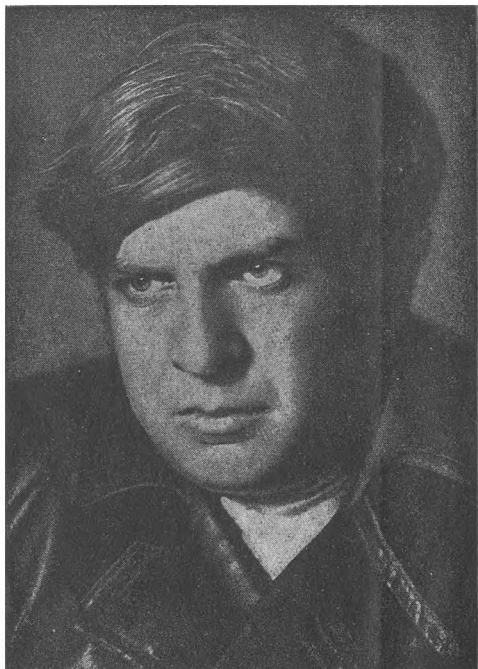


Э. БАГРИЦКИЙ

Э. БАГРИЦКИЙ



Б И Б Л И О Т Е К А П О Э Т А
Малая серия № 61

Э. БАГРИЦКИЙ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

*Вступительная статья
и редакция текста
И. Гринберга*

Л Е Н И Н Г Р А Д
С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

1940

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

В 1914 году в Одессе группа молодых поэтов выпустила сборник стихов «Шелковые фонари». За ним вскоре последовали другие — «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало», «Чудо в пустыне»; объявлено было о выходе «Аметистовых зорь». В сборнике «Серебряные трубы» впервые были напечатаны стихи поэта, чье имя вскоре стало самым уважаемым, самым авторитетным для многочисленных молодых литераторов города, — стихи Эдуарда Багрицкого.

В Одессе тогда подрастала большая группа будущих советских писателей и поэтов. Здесь жили в те годы Багрицкий, Катаев, Олеша, Адалис, Ильф, Петров, Славин, Инбер, Кирсанов, Бондарин, Гехт. Сразу же после Октябрьской революции в городе началась оживленная литературная жизнь. Появились кружки, группы, объединения. Они распадались так же быстро, как и возникали, для того чтобы уступить место новым. На литературных вечерах, концертах, собраниях поэты декламировали свои и чужие стихи, читали рефераты, спорили. И непременно

участником и организатором всех поэтических объединений был Эдуард Багрицкий.

Для подавляющего большинства молодых литераторов деятельность тех лет была лишь творческой предисторией. Нет сомнения, ни в каком собрании сочинений Кягяева и Олеси мы не найдем их стихов и рассказов, написанных и напечатанных в те годы. То были годы ученичества, годы подготовки.

Начинающим в те годы поэтам и писателям приходилось бороться с дурными влияниями буржуазного декаданса. В литературной периодике предреволюционных лет господствовали дешевое эстетство, безвкусица и эпитонство. Бесчисленные подражатели Гумилева (вернее — Г. Адамовича и Г. Иванова) и Северянина наполняли журналы и альманахи жеманными, претенциозными и пустыми стихами. Знак эпитонства лежит и на подавляющем большинстве произведений, вошедших в одесские сборники.

Разумеется, и для Багрицкого те годы были ученическими, и его работа была в большей своей части лишь подражанием, копией. Его особенно увлекала географическая и историческая экзотика Гумилева. Но среди насквозь условных, подражательных стихотворений о «Креолках» и «Каравелах» вдруг попадались такие стихи, как «Суворов», сразу выделявшие молодого поэта. Многочисленные воспоминания товари-

щей Багрицкого свидетельствуют о том, что поэт резко отличался от большинства молодых литераторов широтой поэтического кругозора. Сверстники Багрицкого, как правило, знали только стихи, появлявшиеся в столичных журналах и сборниках. «Модными» поэтами были акмеисты и эго-футуристы. Багрицкий же прекрасно владел наследством классической поэзии. Обладая несравненной поэтической памятью, он в кружках часами читал стихи. Он отлично знал творчество великих поэтов реалистов, и в то же время ему были знакомы стихи полузабытых мало известных поэтов прошлого и все, что было ценного в современной поэзии. О многих поэтах, о литературных течениях кружковцы впервые услышали из уст Багрицкого. Нет сомнения, эта крепкая органическая связь с классическим наследием помогла дарованию Багрицкого быстрее, легче освободиться от влияний буржуазного декаданса.

Багрицкий родился 4 ноября 1895 года; настоящая фамилия его Дзюбин. Семья его была чрезвычайно бедна. Правда, он учился в реальном училище, потом в землемерном. Но при этом его детские и отроческие годы были годами нужды. Это не помешало, однако, Багрицкому полностью отдаться страстному влечению к поэзии, владевшему им с детских лет. В тринадцать лет он организует школьный литературный журнал

В восемнадцать — начинает сотрудничать в сборниках.

Тщетно мы стали бы искать в дореволюционных стихах Багрицкого отражения реальной, окружавшей его действительности. Стихи, появившиеся в сборниках, подчеркнуто романтичны, но романтичность эта чрезвычайно условна. Дело не только в том, что все эти креолки, бригантины, корсары, фарандолы насквозь литературны; хуже всего то, что здесь выбраны для подражания очень дурные образцы. Стилизаторство, дешевое и претенциозное эстетство буржуазного декаданса наложили отчетливый отпечаток на эти стихи.

Однако очень скоро Багрицкий объявляет решительную войну эпигонам акмеизма и эго-футуризма. В этой борьбе с жеманными манерными, «изысканными» стихами Багрицкий жесток и безжалостен. Он высмеивает «эстетов», он пускает против них в ход разящее оружие иронии, он разоблачает несостоятельность их претензий, он начисто разрушает их авторитет в глазах читателей, в глазах поэтической молодежи.

«Целые полчища слов мы вывели из употребления, — вспоминает сверстник Багрицкого: — «красивый», «стильный», «змеится», «стихийно». Мы их затапывали как окурки».

Результатом этой борьбы было решительное изменение всего стихового строя всей образной системы Багрицкого.

Это было связано с рядом значительных событий, решительных поворотов в его жизни.

В 1917 году Багрицкий отправился на персидский фронт; однако очень скоро, уже в самом начале 1918 года он снова в Одессе. Снова он в самом центре литературной жизни, в кружке «Зеленая лампа», в «Студенческом литературном кружке». Но гражданская война уже охватила всю Украину. Французские и прочие интервенты, белогвардейцы и махновцы пытались задушить молодую советскую власть. И Багрицкий занимает место в рядах защитников революции. В 1919 году он работает в Юго-Росте, пишет частушки, воззвания, прокламации, — и стихи его ходят по всей Украине. Он отправляется на фронт с агитпоездом, он работает в партизанском отряде имени ВЦИК.

И после окончания войны Багрицкий сотрудничает в Юго-Росте, выступает в рабочих клубах, предпринимает поездку с агитпоездом «III Интернационал».

В то же время он продолжает оживленную литературную работу. Литературные кружки и кафе следуют одно за другим. После «Зеленой лампы» — ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты), затем Мебос (меблированный остров), Пеон четвертый. В Мебосе Багрицкий поставил в лицах свою поэму «Харчевня». Хозяина харчевни играл Багрицкий, проезжих поэтов — Ильф и Славин.

В эти-то годы и складывался тот Багрицкий, которого мы знаем по сборнику «Юго-запад», вышедшему много лет спустя. Он писал много, легко, свободно — стихи его печатались в различнейших журналах и газетах. И в то же время поэт был чрезвычайно строг к себе — лишь немногое из написанного им в те годы вошло в первый сборник его стихов, — быть может, не более одной десятой. Задолго до того, как имя Багрицкого приобрело широкую известность (это произошло сразу же после первых стихов его, появившихся в центральной печати), его творчество знали и любили читатели «Одесских известий» и газеты водников — «Моряк». Сейчас, когда вышел первый том «Собрания сочинений Эдуарда Багрицкого» (кстати сказать, собравший далеко не все написанное поэтом в те годы — много еще стихов рассеяно по тетрадам старых друзей, по забытым журнальчикам), — сейчас только мы можем видеть, как придирчиво строг был к себе поэт. Только самые зрелые, самые совершенные стихи включал он в свои сборники. Даже «Трактир» (первый вариант) — программное произведение того периода — вошел только в однотомник, законченный изданием уже после смерти Багрицкого.

Социалистическая революция, участие в гражданской войне, агитационно-пропагандистская деятельность внесли коренные, решающие перемены в творчество Багрицкого.

Навсегда отказался он от условий, жеманной романтики акмеистов. Несколько лет спустя в «Стихах о поэте и романтике», напечатанных в сборнике конструктивистов «Бизнес» Багрицкий писал:

Романтика ближе к боям и походам...
Поэмка играет по конским ногам,
Знамена пол-неба полотнами кроют,
Романтика в партии...

Багрицкий отдал все свое вдохновение социалистической революции, и именно с этой-то поры он стал настоящим самостоятельным поэтом, навсегда покончившим с эпигонством и подражательством.

Надо сказать, что многие критики до сих пор еще склонны толковать об «акмеизме Багрицкого». Эти утверждения во многом неверны. Дело не только в том, что акмеизм был законченным реакционным течением и Багрицкий не был бы революционным поэтом, если бы хотя в малой мере разделял идейные установки акмеизма. Речь идет о том, что и поэтика Багрицкого, по мере роста, созревания поэта, теряла последние черты сходства с образной системой акмеизма. Любовь к истории, историческим персонажам и предметность, изобразительность стиха — вот по каким двум основным линиям идет обычно сближение Багрицкого и акмеистов. Однако близость эта кажущаяся, мнимая.

Тяга акмеистов к истории имела свой совершенно точный смысл. Дон-Жуан и Синдбад, Каракалла и Одиссей, капитаны и конквистадоры — все эти образы были вызваны к жизни ради исполнения одного из основных пунктов программы акмеизма — создания героя властного и жестокого, житейского и господина. Образы прошлого призваны были для укрепления господства буржуазии.

Совсем иное значение имело обращение Багрицкого к истории. К. Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»,¹ пишет об использовании исторических образов английской и французской буржуазными революциями:

«В этих революциях заклинание мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы преувеличить значение данной задачи в фантазии, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения на практике, — для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы носиться с ее призраком».

Именно такой характер носила историческая тема у Багрицкого. Поэт не уходил от революции, а, напротив, ею утверждал свою революционность. Герой Багрицкого ничего общего с «капитанами» Гумилева не имеет — он их прямой антагонист.

¹ Собрание сочинений, т. VIII, стр. 321.

противник. Герои акмеистов и герои Багрицкого, если и встречались в прошлом, то исключительно как враги, на поле битвы. Любимый образ поэта — Тиль Улемшпигель — гез, бунтовщик, плебей. Пароль и отзыв гезов — свист жаворонка и крик петуха — часто звучат в стихах Багрицкого. Вспоминая слова Маркса, надо сказать, что Багрицкий обращался к образу Тиля «для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой».

Впоследствии Багрицкий уже не имел нужды обращаться к историческим персонажам. Во «Встрече» он попрощался с Тилем и Ламме. Достигнув полной зрелости, творческой и политической, поэт теперь давал прямое, точное изображение революции и ее людей, не прибегая к историческим параллелям.

Точно так же и «предметность» Багрицкого резко отличается от акмеистической предметности. Возвращение акмеистов к образительному образу, прикрепление слова к предмету было неразрывно связано с созданием условного, резко ограниченного мира, с обращением к истории литературы и истории, с широким использованием реминисценций.

Однако и эти завоеванные акмеистами позиции были ими очень быстро утеряны. В послереволюционные годы идет явственный процесс возвращения Гумилева к символистским принципам. В сборниках же, выпущен-

ных им ранее, рядом со стихами волевыми, напряженными, мы находим стихи, изобразительность которых носит характер уравновешенной созерцательности, равнодушного описания, — черта, свойственная эстетизированному деградирующему искусству.

И уже полностью господствует эта равнодушно-созерцательная интонация в стихах Адамовича, Иванова и других учеников и эпигонов школы.

И следа этой равнодушно-созерцательной интонации нет в творчестве Багрицкого. Она звучала лишь в юношеских стихах и была начисто выброшена поэтом вместе со всем псевдоромантическим антуражем.

Стихам Багрицкого действительно свойственны картинность, точность, выразительность. Это стихи, основанные на изображении мира, на остром и осязательном восприятии его. Им глубоко чужды умозрительность и отвлеченность. Но это вовсе не «картинки с натуры», не «пейзажчики», не самодовлеющие, ограниченные зарисовки. Образ поэта, волевая, напряженная интонация всегда присутствует в стихе, господствует в нем. Все изобразительные частности, все «предметные» детали подчинены основному лирическому заданию стихотворения. Картины, возникающие в стихах Багрицкого, всегда необычайно экспрессивны, выразительны, динамичны; они движутся, развиваются; они глубоко напряжены и драматич-

ны. Трудно подыскать более разительный, наглядный пример соединения эпических и лирических элементов стиха.

Природа играла большую роль в жизни Багрицкого. Такое же важное место занимала она и в его поэзии. В стихотворении «Осень», датированном 1923 годом, прекрасно выражено это глубокое и острое восприятие поэтом природы:

И ухо мое принимает звук,
Гудя как пустой сосуд,
И я различаю:
На юг, на юг.
Осетры плывут, плывут!
Шипение подводного песка,
Неловкого краба ход,
И чаек пролет, и пробег бычка,
И круглой медузы ход.

Это картина цельная и вместе с тем очень широкая, перспективная, исполненная внутреннего движения. Здесь нет ничего общего с манерными, «красивыми», приглаженными, статическими пейзажами, которые помещал Багрицкий в «Серебряных трубах» и «Седьмом покрывале».

Традиции, которым следовал Багрицкий в действительности, совсем иные. Они очень различны, очень не схожи меж собой. Здесь и влияние романтического лермонтовского пейзажа из «Мцыри», и увлечение «Гайдамаками» Шевченко, и традиции «проклятых

поэтов» (недаром стихи Тристана Корбьера печатались в газете «Моряк» рядом со стихами Багрицкого). Первое место среди западноевропейских влияний занимают английские поэты начала девятнадцатого века. Это не Соути, не Вордсворт, не Кольридж, хотя в творчестве именно этих поэтов «озерной школы» доминировала тема природы. Переводы Багрицкого показывают точно, куда были направлены его симпатии, какие поэты привлекали его внимание, и этот выбор очень характерен. Здесь мы находим «разбойничью балладу» Вальтер Скотта, знаменитую «Песню о рубашке» Томаса Гуда, одно из ярчайших произведений английской демократической поэзии первой половины XIX века, и стихи великого народно-шотландского поэта Роберта Бернса.

Однако трудно говорить об этих стихах как о переводах в точном смысле слова. Слишком заметен, слишком осязателен лежащий на них отпечаток поэтической индивидуальности Багрицкого. И герои стихов — разбойник, веселые пицце — оказываются совсем сродни историческим героям Багрицкого — Тиллю и Диделю. И самый характер метафор и эпитетов в переводных стихах органически входит в образную систему «Юго-запада» и «Победителей», — горячие травы, курчавый лес, жирный пух густой сажки, ржавые звезды, сизые леса — все это от Багрицкого, а не от Бернса и не от Вальтер Скотта.

Уже это обстоятельство отлично показывает, с какой осторожностью следует говорить о «влияниях» в поэзии Багрицкого. Разумеется, они имели место, как и в творчестве любого другого поэта, но проходили коренную, органическую переработку, изменявшую самое существо их. Поэтическая система Багрицкого до конца самостоятельна и оригинальна. И место в истории советской поэзии Багрицкий также занимает особое, своеобразное.

В чем же это своеобразие?

К тому времени, когда Багрицкий стал известен не только своим землякам, но читателям всего Союза, то есть к середине двадцатых годов, — борьба с враждебными течениями в поэзии еще далеко не была завершена. Маяковский еще разоблачал контрреволюционные установки «Перевала». Он еще громил есенинщину; он безжалостно обличал, высмеивал мешалские нотки, звучавшие в стихах Жарова, Молчанова и других рапповских поэтов. В то же время были еще сильны пережитки буржуазных эстетических теорий, утверждавших распад стиха, провозглашавших примат одного из элементов стиха — тропа ли, ритма ли, эффонии ли. Еще только выработывался «Кодекс конструктивизма». Еще писал Незнамов в «Новом Лефе»: «Сообщать в стихах факты — дело невозможное. Ни быт, ни история, ни биография для живого поколения в них не вмещаются. Стихи остаются жить

как прокламация, как фельетон, как актуальная газетная вещь». Маяковский и Асеев своими поэмами и лирическими фельетонами опрокидывали лефовские теории.

Маяковский создал лирико-агитационную поэзию, в которой личная тема, тема поэта образовывала неразрывное единство с темой политической. Это была поэзия организующая, призывающая, убеждающая. Она писалась с расчетом на декламацию, на чтение с трибуны. Она брала самые злободневные, самые актуальные вопросы, одновременно раскрывая в них большую не стареющую с годами тему.

В то же время все яснее и яснее становилась необходимость создания поэзии, изображающей, повествующей, поэзии, дающей картину нового мира, созданного революцией. Маяковский несомненно остро чувствовал важность этой задачи. Он дал ее решение в своих поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо». Сравните аллегорические образы «150 000 000» с точными, картинными образами «Хорошо», вам тотчас станет ясным, как поэт трансформировал свой стих в сторону образительности, наглядности, сохраняя при этом полностью его действительность, направленность.

Значение творчества Багрицкого заключается в том, что оно шло навстречу этой потребности создания поэзии, *изображающей* мир, в том, что оно содержало образцы стиха, дающего необычайно выразительную и

ощутимую картину мира, позволяющую остро и сильно почувствовать, воспринять жизнь. Пресловутый «фламандизм» здесь не при чем — изображение мира в стихах Багрицкого лишено спокойствия и гурманства, оно всегда исполнено драматизма и движения, в нем всегда присутствует лирическая тема, острая и напряженная.

Это сразу выделило Багрицкого, сразу привлекло к нему внимание, завоевало любовь читателей. Напрасно пытались некоторые критики и поэты говорить о «неоакмеизме» Багрицкого. Читатели Советского Союза сразу поняли силу революционной поэзии Багрицкого. Только революционный поэт мог создавать стихи, содержащие такое широкое, перспективное изображение мира, исполненные такой жизнерадостности и вместе с тем ощущения жизненного драматизма, проникнутые такой крепкой ненавистью к «хозяевам еды», — такой крепкой любовью к революции.

Сила Багрицкого заключалась и в замечательной органичности, цельности его творчества. Стихи 1918 года и стихи из «Победителей» совсем несхожи меж собой и по широте кругозора, и по тональности, и по глубине понимания, раскрытия жизни. Но на протяжении всего творческого пути Багрицкого мы встречаем одну и ту же группу тем, группу устойчивых мотивов, переходящих из стихотворения в стихотворение. Мы имеем при этом в виду и основные, уз-

ловые темы — тема происхождения, тема природы, тема борьбы с «хозяевами еды», тема бродяжничества, скитальчества, тема смерти, тема одиночества — и частные мотивы — крик пстуха и свист жаворонка, пригородный домик, мелкие, мельчайшие детали быта. Мотивы эти проходят через все три сборника поэта, но трактуются они по-разному. «Хозяева еды», торжествующие над поэтом в «Юго-западе», оказываются побежденными в «Человеке предместья». Одиночество и неприкаянность стихов «От черного хлеба и верной жены» на страницах «Победителей» получают разрешение в радости совместной борьбы и совместного гряда. Таким образом, не в «отсечении» тем, а в переосмыслении, переакцентировке их, в смене угла зрения, выражались изменения в творчестве Багрицкого. А изменения совершились, и изменения весьма существенные.

В сборнике «Победители», в стихотворении «Встреча», Тиль Уленшпигель является на помощь поэту, как эмблема революции, как символ ее. Однако Тиль «Юго-запада» был еще наполнен совсем иным содержанием — это был лишь веселый бездомный бродяга, странствующий певец — не более. Он был «без шпаги — рыцарь, пахарь — без сохи». И о себе говорит поэт.

...Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство,

Пускай голодным я стою у кухню.
Вдыхая запах пиршества чужого. . .

Этот мотив бродяжничества, неприкаянности, одиночества проходит через весь сборник «Юго-запад», окрашивает почти все входящие в него стихи. Наивысшего напряжения достигает он в уже упоминавшемся стихотворении «От черного хлеба и верной жены»:

Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем.
Как спелые звезды, летим наугад. . .
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие.
Над нами чужие знамена шумят.

Откуда же это ощущение бесприютности и неприкаянности у Багрицкого, которого революция сделала поэтом, творчество которого немислимо вне революции? Ведь в следующем же, соседнем стихотворении «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» поэт настойчиво и взволнованно доказывает.

Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,
То, о чем мы думали,
Ведет штыки. . .

.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить.
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить. . .

Как же объяснить настойчивое обращение поэта к теме одиночества, как объяснить то беспокойство, ту смятенность, которые определяют тональность «Юго-запада»? Наиболее ясный ответ дает нам на это стихотворение «Ночь» (являющееся, по сути дела, отрывком из второго варианта поэмы «Трактир»), помещенное в «Юго-западе». Поэт бродит по засыпающему городу, он — и только он — одинок и бесприютен. Здесь-то и происходит столкновение поэта с врагом. . .

И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:

Чудовищной пищей пылает ночь.
Стеклянной наледью блюд. . .

И перед нами возникает кошмарный натюрморт — «Кулаки яблок», «Ядра апельсин», полные «взрывчатой кислоты», «рыб чешуйчатые мечи», грозящие убийством, отсечением головы. Эта «чудовищная пища» эта «оголтелая жратва» враждебна поэту, она подавляет его, она страшна ему, как страшен и «атлет», возвышающийся, царящий над нею. Впоследствии и в «Победителях», и в «Последней ночи» поэт достаточно часто обращался к теме «хозяев еды», чтобы мы могли понять истинное содержание, истинный социальный смысл этой темы.

В те годы, в годы нэпа, в стихах не только одного Багрицкого, но и некоторых других советских поэтов иногда звучали

минорные интонации. Такие нотки мы можем обнаружить и у Тихонова, и у Светлова; в один из таких моментов Асеевым было написано «Лирическое отступление». Отвержение к нэповскому быту, ненависть к собственнику соединялись со страхом и растерянностью. Отсюда же и «романтика одиночества» некоторых разделов «Юго-запада». Она бесследно исчезла, она была снята поэтом в «Победителях» и «Последней ночи», когда поэт окончательно укрепился на позициях революционного пролетариата.

Уже указывалось на тесную внутреннюю взаимосвязь всех элементов поэтической системы Багрицкого. Именно поэтому смятенность, тревога поэта получила такое сильное, острое выражение, в его стихах. Она не только проникает в идейную сердцевину произведения, но и определяет характер самой образности. Мы видим уже, к каким жестоким определениям прибегает поэт, создавая гастрономический натюрморт. «Ночь» в этом отношении не является исключением. И в других стихах этого сборника самый подбор эпитетов, метафор создает ощущение враждебности мира, противостоящего поэту, угрожающему ему — «невеселая вода», «волн оголтелый народ», «ржавые дубы», «клыкастый камень», «солнце распухшее, водяное», «каторжная погода», «стекла, налитые горячей желчью», «тропа недобрая», «трясучая полночь», «малярный зной» —

все это образы очень экспрессивные, выразительные, но экспрессия эта, как не трудно заметить, имеет характер страшный, отталкивающий, ужасающий.

Весьма любопытно, что и природа изображается как начало, враждебное поэту. Вот ночной пейзаж из «Трясины»:

Трясина кругом, да камыш кудлатый.
На черной воде кувшинок заплаты.
А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали;
Месяц сосали, хвостом плескали,
На жирную воду зыбь напускали.
Комар начинал. И с комарьим стоном
Трясучая полночь шла по затонам.

.

Пар оседал малярийным зноем,
След наливался болотным тноем,
Прямо в глаза им сквозь синий студень.
Месяц глядел, непонятный людям..

Но и дневной пейзаж из той же «Трясины» отнюдь не более радостен. И он кажется таким же «колдовским», исполненным такой же внутренней загадочной и пугающей жизни. Острота восприятия, свойственная Багрицкому, конкретность его стиха, крепкая связь между словом и предметом придают особую резкость и подчеркнутость его «страшным» картинам природы и быта. Отношение поэта к миру выражалось в изображении самого мира, и это придавало сти-

хам Багрицкого особую цельность и наглядность. С изменением идейных позиций изменился, как мы увидим ниже, и самый характер его образности.

В поэме Багрицкого «Дума про Опанаса» также звучат мотивы неприкаянности, мотивы смятенности. Однако, разумеется, этим далеко не исчерпывается ее содержание. В «Думе» Багрицкий вышел далеко за рамки волновавшей, мучившей его лирической темы, — он раскрыл трагедию «крестьянского сына», изменившего революции ради своего маленького счастья и неизбежно оказавшегося в стане ее врагов и так же неизбежно обрешшего себя этим на жалкую бесславную гибель. Багрицкий достигает в «Думе» замечательной ясности и поэтичности изображения. Он при этом вводит в поэму и образы «Песни о полку Игореве», и интонации шевченковских «Гайдамаков», и народный дубок. Но решающую роль в «Думе» играют самостоятельные, совершенно оригинальные, найденные Багрицким повествовательные, эпические ходы.

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня — Украина!...
На твоём степном раздольи
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле,
Да ворона кричет.

Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган...

В те годы, когда писалась «Дума», большая форма в советской поэзии была представлена преимущественно лирическими поэмами Асеева и Пастернака. Работал над созданием лирико-эпической поэмы Маяковский. Багрицкий решал ту же задачу. Но шел к ней своим, особым путем. Он создал поэму сюжетную, с крепкими повествовательными интонациями. Но в то же время «Дума» очень далека от стихотворной повести XIX века — в ней силен лирический элемент, и он не собран в лирические отступления, а пронизывает, пропитывает всю поэму. Именно это позволяет Багрицкому заставить читателя так остро почувствовать трагическую вину изменника, отступника Опанаса.

Верность традициям великой реалистической поэзии девятнадцатого века, органическая переработка их — помогли Багрицкому создать одно из самых замечательных произведений советской эпической поэзии. Его героями являются теперь не условные исторические персонажи, а его реальные современники. Это было свидетельством зрелости поэта, окончательного укрепления на позициях революционного пролетариата. Здесь уместно вспомнить следующие слова

Маркса: «Революция стала самой собой лишь тогда, когда получила свое собственное, оригинальное имя, а это стало возможным лишь тогда, когда на первый план ее властно выступил новый, революционный класс, фабричный пролетариат».¹

К тому времени, когда вышел «Юго-запад» (1928 год), Багрицкий уже переехал в Москву. После окончания гражданской войны он жил еще несколько лет в Одессе, сотрудничал в газетах и журналах, занимался с рабочими поэтами в литкружке «Потоки Октября» при железнодорожных мастерских. Литературные сверстники, друзья Багрицкого постепенно перебирались в Москву. Позже других покинул Одессу и Эдуард Георгиевич и поселился в 1925 году под Москвою, в Кунцеве.

Привыкший к живому и дружескому литературному общению, поэт вступил в «Перевал». Однако ничего общего с этой реакционной группой у Багрицкого, разумеется, не могло быть. Очень скоро он покинул ее и вошел в «Литературный центр конструктивистов». Впоследствии, во «Вмешательстве поэта» он жестоко высмеял перевальскую «критику», пытавшуюся помешать росту и укреплению революционной темы в его творчестве.

В «Литературном центре конструктивистов» Багрицкий пробыл до зимы 1930 го-

¹ Собрание сочинений, т. VIII, стр. 38.

да, когда он вышел из «ЛЦК» и вступил вместе с Луговским в ФАПП. Однако связь его с конструктивизмом была внешней и неорганической. (При этом мы отнюдь не имеем в виду личные, дружеские связи Э. Багрицкого с членами «ЛЦК».)

Конструктивисты декларировали свою неотделимость от социалистической революции. Но в то же самое время они претендовали на совершенно особое место в современности, на особую роль. Они игнорировали классовую борьбу, толкуя о борьбе с природой и отводя ведущее место в этой борьбе конструктивистам.

Каждое дело надо знать,
Один знает мех, — другой революцию, —

возглашал один из героев Сельвинского, и конструктивистские теоретики продолжали этот ряд противопоставлений, утверждая, что «один знает культуру, — другой революцию». Таким образом, они отстаивали аполитичность интеллигенции и в то же время выступали в амплуа «хранителей культуры», этаких «культурспецов», отделяя культуру от политики. В статье «Конструктивизм и социализм», открывавшей программный сборник конструктивистов «Бизнес», доказывалось, что «культурнические задачи революции ближе воспринимаются ею (интеллигенцией. — И. Г.), нежели политические задачи».

Чуждость, враждебность этих положений очевидна. Очень скоро конструктивисты поняли, что их установки ведут в тупик, что они не имеют ничего общего с основами социалистической культуры. Члены «ЛЦК» поняли свои ошибки и отказались от них.

Но в «Бизнесе» они еще выступают в роли авангарда «великой армии грузчиков» культуры, еще толкуя о том, что «конструктивизм становится на гребень гигантской волны энергетического подъема и небывалого роста техники». И среди всех этих «грузофикаторских» рассказов и стихов о людях «с веселыми глазами и выжженными нервами» странно выделяются «Стихи о поэте и романтике» Багрицкого, откровенно рассказывающие о смятении поэта, о трудном его пути к полному пониманию задач революции, к полному слиянию с ней. У конструктивистов и у Багрицкого общим было лишь то, что и те, и другой в эти годы изживали мелкобуржуазные иллюзии и пережитки. Но процесс этот шел разными, совсем несхожими путями.

Еще резче было различие поэтики конструктивизма и поэтики Багрицкого при внешнем сходстве заданий. Конструктивисты прокламировали борьбу за эпос, за большую поэтическую форму, за поэзию повествующую, сообщающую факты — и это, казалось, должно было бы свидетельствовать о законной принадлежности Багрицкого к «ЛЦК». Однако конструктивисты боролись

за эпос совсем особыми средствами. Сельвинский — вождь группы — писал в статье «Кодекс конструктивизма» по этому поводу следующее:

«Если прозу сравнить с зеркалом, а поэзию с ручьем, то общность и различие между ними становятся ясными: проза, как и зеркало, существует преимущественно телеологически, т. е. «для того, чтобы», поэзия же, как и ручей, главным образом каузально, т. е. «оттого что».

Иначе говоря, Сельвинский, как и лефовские теоретики, с которыми конструктивисты вели горячую полемику, отрицал способность поэзии «сообщать факты», т. е. отражать жизнь. Поэтому конструктивисты, ставя на своих знаменах «борьбу за эпос», считали необходимым «зеркалить ручей», т. е. внедрить в поэзию методы прозы. При этом они становились на путь, ими самими определяемый как путь «имитации». Основой этой имитации было введение сюжета, имевшего, однако, условный орнаментальный характер. На поддержку ему был выдвинут целый ряд вспомогательных средств — и «документация», и цифры, и статистические (правда, пустые, опять-таки, условные) таблицы, и «имитационная» рифма, и, наконец, «тактовик» — тактометрический стих. Не доверяя поэзии, конструктивисты «прозаизировали» ее.

Все это было своеобразным неверием в силы поэзии. Сталкиваясь с новыми темами,

ища новых средств для выражения их, конструктивисты отступали на территорию прозы.

Но Багрицкий никогда не шел этими путями. Его творчество всегда было поэтично в высоком смысле этого слова. Он осваивал новые темы, использовал новую лексику, вводил слова грубоватые, резкие, «низкие», но слова эти звучали у него подлинно поэтично. И когда Багрицкий в «Победителях» и «Последней ночи» перешел на новые позиции, поэзия его ни в малой степени не стала менее органичной и целостной. Напротив, мир Багрицкого расширился, расцвел, вырос. Из страшного и колдовского он стал прекрасным и жизнерадостным.

Мы уже упоминали о стихотворении «Встреча» (из сборника «Победители»). Поэт бродит по одесскому базару, и «арканом окружает» его та же «страшная» еда. Здесь использована та же, что и в «Юго-западе», система «кошмарных» эпитетов — «синемордая тупая брюква», «крысья узкорылая морковь», «раскаленная жижка» и «желтые прыщи масла», «ноздреватые обрывы сыра», грозящие обвалом. Но за всем этим —

Как памятники пьянству и обжорству.
Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.
И я один среди враждебной стаи...

Так возникает снова мотив смятенности, ужаса, одиночества. «Я одиночек!» — воскли-

цает поэт. Но он свистит жаворонком, и в ответ ему раздается крик петуха (пароль и отзыв гезов), и толстый Ламме, друг Тиля Уленшпителя, идет к нему на помощь. В прохладном кабачке Ламме Гоодзак говорит поэту многозначительные слова:

Ты ищешь нас, а мы везде и всюду.
Нас множество, мы бродим по лесам.
Мы направляем лошадь селянина,
Мы раздуваем в кузницах горнило.
Мы с школярами заодно зубрим.
Нас много, мы раскиданы повсюду.
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?

Здесь выражена новая поэтическая программа Багрицкого. Революция кладет конец господству «хозяев еды», и мир становится ясным, радостным, поэтическим. Романтика одиночества сменяется романтикой гряда и борьбы. Еще показательнее и значительнее в этом отношении стихотворение «ТВС» И оно начинается картиной мира отталкивающего, душного. (На этот раз присутствует мотивировка—туберкулез.) Это ощущение духоты и отвращения доведено до остроты почти физиологической:

И сызнава мир колюч и нат:
Камни — углы, и дома — углы,
Трава до оскемины зелена;
Дороги до скрежета белы.

Очень характерно, что поэт достигает желательного эффекта, отнюдь не прибегая к описанию неприятных физиологических мелочей; его внутреннее состояние, его отношение к окружающему выражено в изображении этого окружающего.

Но на этот раз на помощь поэту является не условный исторический персонаж, а образ Феликса Эдмундовича Дзержинского. И поэт слышит слова, вносящие просветление в его чувства и ум, сообщающие ему силы, указывающие ему путь борьбы.

Он вздыбился из гущины кровей
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!

«Матерый желудочный быт» — это старый враг поэта. Теперь поэт знает, как победить его. И тотчас меняется самая форма всего окружающего:

И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как стынъ.
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.

Стихотворение заканчивается прекрасным, прозрачным и глубоким образом:

Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганная доска,
Готовая к легкой пляске шилы,
К тяжелой походке молотка.

Здесь как бы дана формула, эмблема нового отношения Багрицкого к миру. Образность его остается такой же напряженной, сложной, поэтической. Ничего похожего на идиллию и пастораль не появляется в его стихах. Они попрежнему исполнены драматизма, но это уже не драматизм одиночества, а драматизм борьбы, драматизм счастья. Как непохожи картины природы из «Победителей» и «Последней ночи» на колдовские пейзажи «Юго-запада»! Теперь это радостная, ясная природа, неотделимая от человека.

Написав своеобразную оду автобусу и шоферу («Можайское шоссе»), поэт создал в то же время «Surginus Bagrio», цикл, воспевающий творчество рыбоведа — «начальника столпотворенья».

Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой.
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.

Попрежнему своеобразно ощущение мира у Багрицкого, мира сдвинутого, целостного, приближенного к человеку.

Но теперь рядом с природой входят в творчество Багрицкого новые объекты, теперь предметом его поэзии становится все касающееся человека нового, социалистического общества.

Входит равным радиатором
В состязание светил.

(„Можайское шоссе“, автобус)

Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы...

(„Вмешательство поэта“)

Эта формула боевого содружества так же проходит через все стихи последних двух сборников поэта, как ранее проходила через стихи «Юго-запада» формула одиночества и неприкаянности.

В то же время изменился и характер образности Багрицкого. Попрежнему крепки связи, соединяющие слово с предметом, но характер этой связи изменился и усложнился. Когда-то в Диделевском, кристальном мире все образы были очень ясны и описательно-точны. В «Юго-западе» эта точность и описательность исчезли. Их места заняла экспрессивность, яростная, эмоциональная, в самом изображении теперь раскрывалась лирическая тема, волновавшая поэта. Эта образность по структуре своей была значительно выше, сложнее, концентрированнее. Но она была окрашена смуглой тревогой, наполнявшей сердце поэта и омрачавшей все картины, им создаваемые. Теперь ж Багрицкому вернулась ясность.

цельность мироощущения. Но это уже была ясность не выдуманного кристального мира, и ясность глубокого понимания жизни, понимания современности. И поэтому, хотя образы Багрицкого снова стали прозрачными и радостными, они в то же время не стали снова элементарно-описательными. Прозрачность и ясность соединялись теперь со сложностью и концентрированностью изображения. В то время как в «Тиле Уленшпигеле» каждый образ передавал лишь данное качество данного предмета («дыряный фартук», «синий чад», «легкий пар», «золотой суп»), теперь образ становится многоплановым, широко охватывающим явления самого разного порядка — от кленового листа до мира, избавленного от межей. И, разумеется, эта концентрированность, содержательность ставит образы «Победителей» и «Последней ночи» выше и описательно-точных образов «Тиля Уленшпигеля», и экспрессионистических образов «Трясины», и «Ночи», в которых настроение разъедало предмет изображения. Здесь мы имеем возможность еще один раз убедиться в том, как далеко отстоит подлинный реализм в поэзии, широкий и перспективный, от добросовестного описательства.

Теперь поэт как бы с тыла подходит к своему прежнему восприятию мира, обнажает его корни, истоки. В стихотворении «Происхождение» он раскрывает социологию первого периода его творчества. Чита-

телю становится ясно происхождение этого мироощущения, в котором «все наыворот, все как не надо», которое порождено жалким и душным мещанским бытом, неизменно ненавистным поэту.

От «Происхождения» (сборник «Победители») идет нить к поэме, открывающей следующую книгу стихов «Последняя ночь». Мотив «происхождения» здесь возникает снова, но он взят гораздо шире — он вырастает в тему поколения, чья молодость совпала с годами империалистической и гражданской войны. Эта тема получает ясное и спокойное разрешение в заключительных строфах поэмы, говорящих о радости зрелого и уверенного мастерства:

Но мы — мы живы наверняка!
Отсыпáлся, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.
И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, оно теперь
Подвластно нашей руке.

Вся поэма построена на переходах, казалось бы, чрезвычайно резких, но на деле совершающихся естественно и без всякой натяжки. Охота эрцгерцога, потом образ ночи, появление сверстника, снова эрцгерцог, потом война, размышление о друзьях обобщение, синтез и, наконец, концов-

ка, с таким необычайным величавым спокойствием говорящая о смерти.

Но дело здесь не только в смене мотивов, в переходах от темы к теме. Меняются и масштабы, и интонации. Так, после описания бывшего мечтателя, ныне чиновника, следует печальный возглас сожаления о дрозде, о блеске ночи. Так, за маленьким по размерам, но необычайно рельефным военным пейзажем (сапог у пушечной колес, консервная банка, раздробленная прикладом, бродячий пес) идет картина с необозримой перспективой, охватывающая всю воюющую Европу. Так, исполненные спокойной грусти строки о погибших товарищах сменяются строками, исполненными силой и уверенности.

Эта свободная, непринужденная и вместе с тем сложная композиция поэмы Багрицкого очень своеобразна. Она резко отличается от «Думы про Опанаса». «Дума» заключала в себе ясный сюжет, драматически развивающийся. В «Последней ночи» же изложение событий является в то же время анализом событий. Именно ход анализа, анализа судеб погибшего и возрожденного поколения, определяет логику развертывания поэмы.

Так же, как общность мотивов объединяет «Происхождение» и «Последнюю ночь», так связана «Встреча» с «Человеком предместья». Снова возвращается Багрицкий к теме борьбы с собственническим миром.

Только теперь отброшены все условности и иносказания. Не условный «хозяин еды» перед нами, а вполне реальный «человек предместья» — кулак, мещанин, хищник; Багрицкий дает здесь блестящий социально-психологический портрет. Не условные Тиль и Ламме приходят на помощь поэту в его борьбе с «человеком предместья», а реальные «чекисты, механики, рыбоводы», а счастье боя, боя за новый, счастливый мир звучит как лейтмотив произведения.

Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!

При несходстве тем, в них раскрываемых, «Последняя ночь» и «Человек предместья» схожи последовательностью анализа. Но в «Последней ночи» полнее и сильнее раскрыты мотивы разрушения старого мира, в «Человеке предместья» — мотивы торжества нового, социалистического мира. И еще явственнее звучат они в «Смерти пионерки».

В стихах Багрицкого первого периода фигуры людей носят чисто условный характер. Это либо такие же предметы романтического обихода, как и бриги, шпаги, таверны, либо персонажи эмблематические, как Тиль. В «Юго-западе» человеческие страсти и размышления выражены с большей силой, но принадлежат они лишь самому поэту. Только в «Думе про Опа-

наса» появляются люди, разворачиваются человеческие судьбы. В «Победителях» образы людей играют большую роль, но, как правило, они даются общим планом, без всякой детализации. Что же касается «Последней ночи», то в центре каждой поэмы находится человеческий образ, образ обобщающий, концентрирующий в себе черты типические и характерные. В «Последней ночи» — это мечтатель, перерождающийся в сознательного и твердого воина революции. В «Человеке предместья» — хищник, собственник-кулак, раздавленный наступлением социализма. В «Смерти пионерки» героиней является маленькая, слабая, умирающая девочка. Какое крохотное, нежное существо привлекло внимание поэта, воспевавшего романтику боев и походов!

В отличие от первых двух поэм, фабула «Смерти пионерки» элементарна до крайности. Пионерка Валя умирает от скарлатины. Мать, горящая над ней, умоляет ее надеть маленький крестильный крест. Но Валя отказывается, и рука ее, поднявшаяся последний раз в салюте, бессильно падает на подушки. Вот и все.

Но и здесь мы узнаем поэта, вызвавшего когда-то, в «Сказании о море, матросах и летучем Голландце», из лепестков розы целую прекрасную страну. В миниатюрном этом сюжете он увидел богатую тему революционного мужества, революционной стойкости. В словах матери (быть

может, это жена «Человека предместья») мы узнаем голос «желудочного быта»:

Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро.
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла,
Чтоб было приданое
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Вот этот «до отвращения милый, кошачий и детский мир», эта «скромная заповедь молока», этот «добротный запах дома», который так преследовал поэта, искушал его эгоистической сытостью, блаженством ничтожества, спокойствием тупости. Теперь он искушает маленькую пионерку, хочет уговорить ее отречься от революции, от боевой дружбы, от готовности к борьбе, к подвигам, к труду. Но и здесь ему, старому собственническому миру, не одержать победы над молодостью свободной социалистической страны.

Пусть звучат постылые
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива.

И сразу, стремительно, рывком, поэт колоссально расширяет тему, открывает необозримые, бескрайние просторы.

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Так высоко взлетает эта песня, этот гимн о революционном мужестве, что ясно видим мы все тончайшие и крепчайшие нити, схватывающие всю нашу родину, нити великой дружбы. Взлетает и снова возвращается к пионерке Вале:

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Цела наша молодость,
Как весной вода.

За этим крохотным телом поэт видит и отряды ребят, и тучи, полные ливнями, и сабельный поход. Весь этот мир, радостный, неистребимый, молодой, обрушивается на тупой, сопротивляющийся желудочный быт, громит его, торжествует над ним. И вместе со всеми торжествует и Валя, потому что она не сдалась, не испугалась, потому что последним ее движением был салют, последними словами — «Я всегда готова». И сама смерть ей не страшна, потому что ее не покинуло мужество, потому что мужество это дает прекрасные новые плоды.

Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Так раскрыл Багрицкий в последнем своем сборнике обаяние нового человека, его мужество, его твердую волю, его неколебимую преданность социализму. Ему, этому человеку, поэт отдал всю природу, звонкую и блистающую. Сборники стихов Багрицкого — это не сборники в обычном смысле, а соединения гораздо более прочные и органические. Мотивы, возникающие в одном стихотворении, перекликаются с мотивами другого, и кунцевский домик, или сосну, стоящую около него, мы узнаем, как

старых друзей. Не случайность — объединение трех поэм, — их взаимосвязь особенно выделена. Четвертым произведением сборника «Последняя ночь» является стихотворение о птицах, разорванное на три части, из которых каждая стоит эпиграфом у одной из поэм. В «Последней ночи» герой в разгаре империалистической войны вспоминает с тоской о свисте дрозда, и эпиграф воспевает взлетающего на явор черного дрозда. В «Человеке предместья» зяблик встречает утреннюю звезду, и эпиграф воспевает подмосковных зябликов. В «Смерти пионерки» пеночки щебечут за больничной оградой, и эпиграф воспевает зеленую пеночку и ее двухоборотный свист. Таков этот своеобразный ключ к сборнику. Стихотворение о щебечущем, свистящем птичьем мире охватывает, пронизывает эту книгу о социалистическом укладе жизни и о борьбе за него.

«Смерть пионерки» написана с мастерской простотой. Но другие две поэмы показывают, как Багрицкий продолжал развивать и совершенствовать принципы построения сложных, многоплановых и в то же время слитных, целостных образов, — принципы, примененные им уже в «Победителях». Багрицкий, отнюдь не отказываясь от образа изобразительного, прочно прикрепленного к предмету, вместе с тем придавал ему метафоричность. Это делало образ емким, широким по охвату, и одновременно

сжатым, лаконическим. Поэтому плотность, концентрированность, насыщенность образов «Последней ночи» очень высока.

Так же компактна, конденсированна, экономна и композиция поэм. По размерам своим они могли бы быть названы большими стихотворениями. Но широта охвата, отличающая их, идейная насыщенность, обилие впечатлений, вызываемое ими, позволяет их называть только поэмами, и притом совершенно особого типа, который мы назвали бы аналитически-изобразительным.

Так изменился мир поэзии Багрицкого. так ушло из него все «болотное, ночное, колдовское» и он превратился в радостный, просторный мир борьбы и труда, мир чекистов, механиков, рыболовов, гидрографов, поэтов, шпионеров, ветеринаров и других «работников страны», мир дроздов, зябликов и пеночек. В этом мире было радостно и легко работать. В последние годы своей жизни Багрицкий писал много и хорошо. Он сделал либретто оперы «Дума про Опанаса», в которой раскрыл свою старую тему глубже, с большим ощущением истории, исторической перспективы. Отдельные места либретто принадлежат к числу лучших стихов Багрицкого — песня Павлы, песня о четырех ветрах. Поэт начал работу над поэмой «Февраль», продолжающей линию, «Происхождения» и «Последней ночи». Но кончить ее ему не удалось.

С отроческих лет Багрицкий страдал припадками астмы. Они все усиливались, становились тяжелей. Последние годы Багрицкий жил в Москве: двигаться ему было все труднее и труднее. Но связи его с жизнью не ослабевали, в его комнате стояли аквариумы с любимыми им рыбами; множество людей различных профессий навещало поэта. Багрицкий вел большую систематическую работу с молодыми поэтами — учил, воспитывал их. До последних дней своих он сохранил свою веселую иронию, продолжал горячо и страстно любить жизнь, горячо и страстно любить поэзию.

Шестнадцатого февраля 1934 года Эдуард Георгиевич Багрицкий умер. За гробом его, поэта-бойца, поэта-воина, ехал эскадрон кавалеристов, шла многотысячная толпа. Его облик встает в многочисленных воспоминаниях, любовно и тщательно собирающих мельчайшие черты из жизни поэта. Его стихи любимы миллионами советских читателей. Его стихи являются превосходными образцами для молодых поэтов.

Наследство Багрицкого — одна из самых ярких, самых вдохновенных страниц в истории советской поэзии.

И. Гринберг

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ранние стихи

СУВОРОВ

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями.
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще
дилижансы.

И кучера сидели на козлах в камзолах
и фетровых шляпах;

По вечерам, в гостиницах, веселые девушки
пели романсы.

И в низких залах струился мятный запах.

Когда здалече звучал рожок почтовой
кареты.

На грязных окнах подымались зеленые
шторы,

В темных залах смолкали нежные дуэты,
И раздавался шопот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки.
Растворялись ворота услужливыми казачками,
Краснолицые путники почтительно прятали
трубки.

Обжитая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,
На котором стояли саксонские часы и уродцы
из фарфора,
Читал французский роман, открыв его
с середины, —
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей
знатного сеньора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней,
И толстая служанка стучит по коридору
башмаками,
Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он сходил во двор,
держась за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую
лошадь, —
И мчались гостиница, роща так, что в
глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана
Маленькие домики и церковь с облупленной
крышей,
Он дергал высокого кучера за полу кафтана
И кричал ему старческим голосом:
«Поезжай потише!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр
Васильич!
Сколь прискорбно мне ваш мирный покой
тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню
свою удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои
владения множить. . .»

Он долго смотрел на надушенную бумагу, —
Казалось, слова на тонкую нитку нижет;
Затем подходил к шкапу, вынимал ордена
и шпагу —
И становился Суворовым учебников
и книжек.

1915

ГИМН МАЯКОВСКОМУ

Озверевший зубр в блестящем цилиндре —
Ты медленно поводишь остеклевшими глазами
На трубы, льющие, как руки, облака,
На грязную мостовую, залитую нечистотами.
Вселенский спортсмен в оранжевом костюме,
Ты ударил землю кованым каблуком,
И она взлетела в огневые пространства
И несется быстрее, быстрее, быстрее...
Божественный сибарит с бронзовым телом,
Следящий, как в изумрудной чаше Земли,
Подвешенной над кострами веков,
Вздуваются и лопаются народы.
О. Полководец Городов, бешено лающих
на Солнце,
Когда ты гордо проходишь по улице,
Дома вытягиваются во фронт,
Поворачивая крыши направо.
Я, изнеженный на пуховиках столетий,
Протягиваю тебе свою выхолченную руку,
И ты пожимаешь ее уверенной ладонью.
Так, что на белой коже остаются синие
следы.

Я, ненавидящий Современность,
Ищущий забвенья в математике и истории,

Ясно вижу своими все же вдохновенными
глазами,

Что скоро, скоро мы сгнем, как дымы.

И, почтительно сторонясь, я говорю:

«Привет тебе, Маяковский!»

1915

ТРАКТИР

ПОСВЯЩЕНИЕ 1

(ироническое)

Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто в жажде быть свободным.
Как дар, хранит свое дневное право —
Три раза есть и трижды быть голодным.
Он слеп, он натывается на стены.
Он одинок. Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овеяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира, —
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.

ПОСВЯЩЕНИЕ 2

(романтическое)

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.
Сырая ночь окутана туманом...
Что из того?

Наш голос не умолк.

В тех погребках, где юношам и пьяным
Не отпускают вдохновенья в долг.
Женаты мы.

Любовь нас не волнует,
Домашней лирике приходит срок.
Пора! Пора!

Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.
И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Оцена изображает чердак в разрезе. От чердака к низким и рыхлым облакам подымается витая лестница и теряется в небе. Поэт облокотился о стол, опустив голову. На авансцену выходит чтец.

Чтец

Для тех, кто бродит по дворам пустым
С гитарой и ученою собакой,
Чей голос дребезжит у черных лестниц.
Близ чадных кухонь, у помойных ям,
Для тех неунывающих бродяг,
Чья жизнь, как немощеная дорога,
Лишь лужами и кочками покрыта.
Чье достоянье — посох пилигрима
Или дырявая сума певца, —
Для вас, о, неудачники мои,
Пройдет нравоучительная повесть
О жизни и о гибели певца.

О, вы, имеющие теплый угол,
Постель и стеганое одеяло,
Вы, греющие руки над огнем,
Прислушиваясь к нежному ворчанью
Похлебки в разогретом котелке, —
Внемлите этой повести печальной
О жизни и о гибели певца!

П е в е ц

Окончен день, и труд дневной окончен:
Башмачник, позабывший вколотить
Последний гвоздь в широкую подошву,
Встречает ночь, удобно завалившись
С женою спать. Портной, мясник и повар
Кенчают день в корчме гостеприимной
И пивом, и сосисками с капустой
Встречают наступающую ночь.
Десятый час. Теперь на скользких крышах
Кошачьи начинаются свиданья.
Час воровской работы и любви,
Час вдохновения и час разбоя,
Час, возвещающий о жарком кофе,
О булках с маслом, о вишневой трубке,
Об ужине и о грядущем сне.
И только я, бездельник, не узнаю
Чудесных благ твоих, десятый час!
И сон идет и пухом задувает
Глаза, но только веки опущу,
И улица плывет передо мною
В сиянии разубранных витрин.
Там розовая стынет ветчина,
Подобная прохладному рассвету,
И жир, что обволакивает мясо,

Как облак, проплывающий в заре.
О, пирожки, обваренные маслом,
От жара раскаленной духовой
Коричневым покрытые загаром,
Вас нежный сахар ищеем покрыл —
И вы лежите маслянистой грудой
Средь ржавых груш и яблок восковых.
И в темных лавках, среди туп, висящих
Меж ящичков и бочек солонины,
Я вижу краснощеких мясников,
Колбасников в передниках зеленых.
Я вижу, как шатаются весы
Под тягой гирь, как нож блестит и сало,
Свистя, разрезывает на куски,
И мнится мне, что голод скользкой мышью
По горлу пробирается в желудок,
Царапается лапками тугими,
Барахтается, ноет и грызет.
О господи, ты дал мне голос птицы,
Ты языка коснулся моего.
Глаза открыл, чтобы сокровитое узреть,
Дал слух совы и сердце научил
Лад отбивать слагающейся песни!
Но, господи, ты подарить забыл
Мне сытое и сладкое безделье,
Очаг, где влажные трещат дрова,
И лампу, чтоб мой вечер осветить.
И вот глаза я полымаю к небу
И руки складываю на груди —
И говорю: о, боже, может быть,
В каком-нибудь неведомом квартале
Еще живет мясник сентиментальный.
Бормочущий возлюбленной стихи

В горячее и розовое ухо.
Я научу его язык словам,
Как мед тяжелый, сладким и душистым,
Я дам ему свой взор, и слух, и голос, —
А сам — подмышки фартук подвяжу,
Нож наточу, лоснящийся от жира,
И молча стану за дубовой стойкой
Медлительным и важным продавцом.
Но ни один из мясников не сменит
Свой нож и фартук на судьбу певца.
И жалкой я брожу теперь дорогой,
И жалкий вечер без огня встречаю —
Осенний вечер, поздний и сырой.

Ч т е ц

Так, что ни вечер, сетует певец
На господа и промысел небесный.
И вот сквозь пенье скрипок и фанфар,
Съвозь ангельское чинное хваленье,
Господь, сидящий на высоком троне,
Услышал скорбную мольбу певца
И так сказал:

Г о л о с

Сойди, гонец послушный,
С небес на землю. Там в пыли и прахе
Измученного отыщи певца.
И за руку возьми и приведи
Его ко мне — в мой край обетованный.
Дай хлеб ему небесный преломить
И омочи его гортань сухую
Вином из виноградников моих.
Дай теплоту ему, и тишину,

И ложе жаркое приготовь,
Чтоб он вкусил безделье и отдых.
Сойди, гонец!

Ч т е ц

И уж бежит к земле
По лестнице высокой и скрипучей
Гонец ширококрылый. И к нему
Все ближе придвигается земля:
Уже он смутно различает крыши,
Верхи деревьев, купола соборов,
Он видит свет из-за прикрытых ставень.
И в уличном сиянии фонарей
Вечерний город — смутен и спокоен.
По лестнице бежит гонец послушный,
Распугивая голубей земных,
Заснувших пол застрехами собора.
И грузный разговор колоколов
Гонец вливает слухом непривычным...
Все ниже, ниже в царство чердаков,
В мир черных лестниц, среди стропил
гниющих,
Бежит гонец, и в паутине пыльной
Легко мелькает ясная одежда
И крылья распростертые его.
О, как близка голодная обитель,
Где изможденный молится певец! —
Так поспеши ж, гонец ширококрылый,
Сильней стучи в незапертую дверь,
Чтоб он услышал голос избавленья
От голода и от скорбей земных.

Стук в дверь.

Певец

Кто в этот час ко мне стучит!.. Сосед ли,
Пришедший за огнем, чтоб раскурить
Погаснувшую трубку, иль, быть может,
Товарищ мой голодный, как и я?
Войди, пришелец!

Чтец

И в комнату идет
Веснуцатый, и красный, и румяный.
Рассыльный из трактира, и певец
Глядит на бойкое его лицо,
На руки красные, как сок морковный.
На ясные, лукавые глаза,
Сняющие светом неземным.

Певец

О, посещение странное! Зачем
Пришел ко мне рассыльный из трактира?
Давно таких гостей я не встречал —
С румянцем жарким и веселым взглядом

Гонец

Хозяин мой вас приглашает нынче
Отужинать и выпить у него.

Певец

Но кто же ваш хозяин и откуда
Он знает обо мне?

Гонец

Хозяин мой
Все песни ваши помнит наизусть.

Хоть и трактирщик он, но все же муза
Поэзии ему близка, и вот
Он нынче приглашает вас к себе
Скорее собирайтесь. Долог путь —
Остынет ужин прежде, чем дойдем,
И зачерствеет нежный хлеб пшеничный.
Быстрее собирайтесь!

П е в е ц

Только в плащ
Закутаюсь и шапку нахлобучу.

Г о н е ц

Пора идти, хозяин ждать не любит.

П е в е ц

Сейчас иду. Где мой дорожный шарф?

Ч т е ц

Они идут от чердаков сырых,
От влажных крыш, от труб, покрытых
сажей.

От визга кошек, карканья ворон
И звона колокольного, все выше
По лестнице опасной и крутой.
Шатаются истертые ступени
Под шагом их. И ухватился крепко
За пальцы провожатого певец.
Все выше, выше, к низким облакам,
Сырым и рыхлым, сквозь дождливый
сумрак.

Раскачиваема упорным ветром,
Крутая лестница ведет тонца.

И падая и оступаясь вниз
И за руку водителя хватаясь,
Певец идет все выше, выше, выше,
От въедливого холода дрожа.

П е в е ц

Опасен путь, и неизвестно мне,
Куда ведет он.

Г о н е ц

Не волнуйся. Ты
Сейчас найдешь приют обетованный.

П е в е ц

Но я боюсь, от сырости ночной
Скользит нога, и лестница трещит...

Г о н е ц

Будь стойким, не гляди через перила.
Держись упорней, вот моя рука —
Она крепка и удержать сумеет.

Ч т е ц

Конец дороги скользкой и крутой.
Раздергиваются облака, треща
Как занавес из коленкора. Свет
От фонаря, повисшего над дверью,
Слепящей пылью дунул им в глаза.
И вывеску огромную певец
Разглядывает с жадным любопытством:
Там кисть широкая намалевала
Оранжевую сельдь на блюде синем,
Малиновую колбасу и чашки

Зеленые с разводом золотым.
И надпись неуклюжая гласит:
«Заезжий двор — спокойствие сердец».
О, вечно восхваляемый трактир,
О, запах пива, пар, плывущий тихо
Из широко распахнутых дверей,
У твоего заветного порога
Перекрестились все пути земные.
И вот сюда пришел певец и жадно
Глядит в незапертую дверь твою.
Да, лучшего он пожелать не смел:
Под потолком, где сырость разрослась
Пятном широким, на крюках повисли
Огромные окорока, и жир
С них каплет мерно на столы и стулья.
У стен, покрытых краскою сырой,
Большие бочки сбиты обручами,
И медленно за досками гудит,
Шипит и бродит хмель пивной. А там,
На низких стойках, жареные рыбы
С куском салата, воткнутом во рты,
Коричневой залитые подливой,
Распластаны на длинных блюдах. Там
Дырявый сыр, пропахший нежной гнилью,
Там сало мраморным лежит пластом,
Там яблоч груды, и загар медовый
Покрыв их щеки пылью золотой.
А за столом, довольные, сидят
На стульях гости. Чайники кругом,
Как голуби ленивые, порхают,
И чай, журча, струится в чашки. Вот
Куда пришел певец изнеможенный.
И ангел говорит ему:

«Иди

И за столом усядься. Ты обрел
Сголь долгожданное успокоенье —
Хозяин все тебе дарует».

П е в е ц

Но
Чем расплачусь я?

Г о н е ц

Это только мзда
За песни, что слагал ты на земле...

Ч т е ц

С утра до вечера — еда и только...
Певец толстеет. Вместо глаз уже
Какие-то гляделки. Вместо рук —
Колбасы. А стихи давным-давно
Забыл он. Только напевает в нос
Похабщину какую-то. Недели
Проходят за неделями. И вот
Еда ему противной стала. Он
Мечтает о работе, о веселых
Земных дорогах, о земной любви,
О голоде, который обучил
Его стихам, о чердаке пустом.
О каплях стеарина на бумаге...
Он говорит:

П е в е ц

Ну, хватит, погулял!
Теперь пора домой. Моя работа
Заброшена. Пусти меня. Пора!

Чтец

Но тот, кто пригласил его к себе,
Не отпускает бедного поэта...
Он лучшее питье ему несет,
Он лучшие подсовывает блюда:
Пусть ест! Пусть поправляется! Зачем
Певцу земля, где голод и убийства:
Сиди и ешь! Чего тебе еще?

Певец

Пусти меня. Не то я перебью
Посуду в этой комнате постылой.
Я крепок. Я отъелся, и теперь
Я буду драться, как последний грузчик
Пусти меня на землю. У меня
Товарищи остались. Целый мир,
Деревьями поросший и водой
Обрызганный — в туманах и сияньях
Оставлен мной. Пусти меня! Пусти!
Не то я плюну в бороду твою,
Проклятый боров!.. Говорю: пусти!

Чтец

Тогда раздался голос.

Голос

Чорт с тобой!
Довольно! Уходи! Катись на землю!

1919—1920

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

От славословий ангельского сброда,
Толпящегося за твоей спиной,
О, Петербург семнадцатого года,
Ты косолапой двинулся стопой.
И что тебе прохладный шелест крылий,
Коль выстрелы мигают на углах,
Коль дождь сечет, коль в ночь автомобили
На нетопырьих мечутся крылах.
Нам нужен мир! Простора мало, мало!
И прямо к звездам, в посвист ветровой,
Из копоги, из сумерек каналов
Ты рыжею восходишь головой.
Былые годы тяжко проскрипели,
Как скарбом нагруженные возы,
Засыпал снег цевницы и свирели,
Но нет по ним в твоих глазах слезы.
Была цыганская любовь, и сипий
В сусальных звездах детский небосклон.
Все за спиной.
Теперь слепящий иней,
Мигающие выстрелы и стон,
Кронштадтских пушек дальние раскаты.
И ты проходишь в сумраке сыром,
Покачивая головой кудлатой
Над черным адвокатским сюртуком.

И над водой у мертвого канала,
Где кошки мрут и пляшут огоньки,
Тебе цыганка пела и гадала
По тонким линиям твоей руки.
И нагадала: будет город снежный,
Любовь сжигающая, как огонь,
Путь и печаль...
Но линией мятежной
Рассечена широкая ладонь.
Она сулит убийства и тревогу,
Пожар и кровь и гибельный конец.
Не потому ль на страшную дорогу
Октябрьской ночью ты идешь, певец?
Какие тени в подворотне темной,
Вослед тебе глядят в ночную тьму?
С какую ненавистью неуемной
Они мешают шагу твоему.
О, широта матросского простора,
Там чайки и рыбацьи паруса,
Там корифеем пушечным «Аврора»
Выводит трехлинеек голоса.
Еще дыханье! Выдох! Вспыхнет! Брызнет!
Ночной огонь над мороком морей...
И если смерть — она прекрасней жизни,
Прославленной, чем тысяча смертей.

1921

СКАЗАНИЕ О МОРЕ, МАТРОСАХ И ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ

Знаешь ли ты сказание о Валгалле? Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю. Ветер надувает парус, и парус несет ладью. И неизвестные берега раскидываются перед воинами. И битвы, и смерть, и вечная жизнь в Валгалле. Оходят Валкирии в облаке дыма, в пении крыльев за плечами, и руками, нежными, как ветер, поднимают души убитых. И летят души на небо и садятся за стол, где яства и мед.

И Один приветствует их. И есть ворон на троне у Одина, и есть волк, растянувшийся под столом. Внизу — скалы, тина и лодки; наверху — Один, войны и ворон. И если приходит в бухту судно, встает Один, и войны приветствуют мореходов, подымая чаши. И Валкирии трубят в рога, прославляя храбрость мореходов. И пируют внизу моряки, а наверху — души героев. И говорят вечны Валгалла. Один и ворон, — вечны море, скалы и птицы.

Знайτε об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

(Из сказаний Свена Песнетворца.)

Замедлено движение земли
Развернутыми потными листьями.

О, флейты, закипевшие вдали,
О, нежный ветер, гудящий под смычками!..

Прислушайся; в тревоге хоровой
Уже труба подьѐмлет глас державный, —
То вагнеровский двинулся прибой,
И восклицающий, и своенравный...

I

ПЕСНЯ О МОРЕ И НЕБЕ

К этим берегам, поросшим шерстью,
Скользкими ракушками и тиной,
Ливно скрученные ходят волны,
Растекаясь мылом, закипевшим
На песке.

А над песками — скалы,
Растопыренные и крутые.
Та, посмотришь, вытянула лапу
К самой тине, та присела крабом,
Та плавник воздела каменистый
К мокрым тучам.

И помет бакланий
Известью и солью их осыпал...

А над скалами, над птичьим пухом —
Северное небо, и как будто
В небе ничего не изменилось:
Тот же ворон на дубовом троне
Чистит клюв, и тот же волк поджарый
Растянулся под столом, где чаши
Рыжым пивом налиты и грузно

В медные, начищенные блюда
Вывалены туши вепрей.

Вечер

Дикий пир. Надвинутые туго,
Жаркой медью полыхают шлемы,
Груды волосатые расперты
Легкими, в которых бродит воздух.
И как медные и злые крабы,
Медленно ворочаясь и тяжело
Громяхая ржавыми щитами,
Вкруг стола, сколоченного грубо
Из досок сосновых, у кувшина
Крутогорлого они расселись —
Доблестные воины.

И ночью

Слышатся их голоса и ругань,
Слышно, как от кулака крутого
Стонет стол и дребезжит посуда.
Поглядишь: и в облаках мигают
Суетливые зарницы, будто
Отблески от вычищенных шлемов,
Жарких броней и мечей широких...

II

ПЕСНЯ О МАТРОСАХ

А у берега — рыбачьи лодки,
Весла и плетеные корзины
В чешуе налипшей.

И под ветром

Сети, вывешенные на сваях,

Плещут и колышутся...

Бывает,

Закипит вода под рыбьим плесом,
И оттуда, из морозной дали,
Двинется треска, взовьются чайки,
Над водой запрыгают дельфины,
Лакированной спиной сверкая,
Затрещат напряженные сети,
Женщины заголосят...

И в стужу,

Полоща полотнищем широким,
Медленные выплывают лодки...

День идет серебряной трескою,
Ночь дельфином черным проплывает...
Те же голоса на побережьи,
Те же неводы и та же тина,
Валуны, валы и шорох крыльев...

Но однажды, наклонившись набок,
Разрезая волны и стеная,
В бухту судно дивное влетело.
Ветер вел его, наполнив парус
Крепостью упрямою, как груди
Женщины, что молоком набухли...

Ворот заскрипел, запели цепи
Над заржавленными якорями, —
И по сходням с корабля на берег
Выбежали странные матросы...

Тот — как уголь, а глаза пылают
Белизной стеклянною, тот глиной
Будто вымазан и весь в косматой

Бороде, что окрашен охрой,
И глаза, расставленные косо,
Скользкими жуками копошатся...
И матросы не зевали:

Ночью

В расплескавшемся вдали пыланьи
Пламени полярного, у двери
Рыбака, стрелка иль китолова
Беспокойные шаги звучали,
Голоса, и пение, и шопот...

И жена протягивала руки
К мерзлomu оконцу, осторожно,
Жаркие подушки покидая,
Шла к дверям.

И вот в шочи несется
Щелканье ключа и дребезжанье
Растворяющейся двери...

Ветер —

Соглядатай и веселый сторож
Всех влюбленных и беспутных — снегом
У дверей следы их замечает...

А в трактирах затевались драки,
Из широких голенищ взлетали
Синеглазые ножи, и пули
Застревали в потолочных балках...

Пой, матросская хмельная сила,
Голоси, целуйся и ругайся!

Что покинуто вдали: размерный
Воли размах, качанье на канатах

И спокойный голос капитана...
Что разворачивается вдали: буруны,
Сединой гремящие певучей,
Доски, стонущие под ногами,
Жесткий дождь, жестокий ломоть хлеба
И спокойный голос капитана...

III

ПЕСНЯ О КАПИТАНЕ

Кто мудрее стариков окрестных,
Кто видел и кто трудился больше?..
Их сжигало солнце Гибралтара,
Им афинские гремели волны,
Горький ветер кремнистого Асаама
Волосы им ворошил случайно...

И, спокойной важностью сияя,
Вечером они сошлись в трактире,
Чтоб о судне толковать чудесном.
Там расселись старики, поставив
Ноги врозь, и в жесткие ладони
Положив крутые подбородки...

И, когда старейшиною было
Слово сказано о судне дивном, —
Заскрипела дверь, и грузный грянул
В доски шаг, и налетел веселый
Ветер с моря, снег и гул прибоя...
И, осыпан снегом и овеем
Зимним ветром, встал пред стариками
Капитан таинственного судна...
Рыжекудрый и огромный, в драгом

Он предстал плаще, широколобой
И кудлатой головой вращая.
Рыжий гух, как ржавчина, пробился
На щеках опухших, и под шляпой
Чешуей глаза окоченели.

IV

ПЕСНЯ О РОЗЕ В СУДНЕ

*(Что сказали старцы капитану,
И о мудром капитанском слове.)*

— Уходи!

Распахнутые воют
Пред тобой чужие океаны,
Южный ветер, иль заиндевелый
Пламень звезд, иль буйство рулевого
Паруса твой примчало в бухту...
Уходи!

Гудит и ходит дикий
Мыльный вал, на скалы налетая.
Горный ветр вольется в круглый парус,
Зыбь прибрежная в корму ударит, —
И распахнутый перед тобою
Пламенный зияет океан...

Мореходная покойна мудрость, —
Капитан откинул плащ и руку
Протянул.

И вот на мокрых досках
Роза жаркая затрепыхалась...
И, пуховую всклубившись тучей,
Запах поднялся как бы от круглой

Розовой жаровни, на которой
Крохи ладана чадят и тлеют.

И в чаду и в запахе пловучем
Увидали старцы:

Закипает

В утлой комнате чужое море,
Где круглыми стружками клубится
Пена.

И медлительно и важно
Вверх плывут ленивые созвездья,
Над соленой тишиной морской
Чередой располагаясь дивной.

И в чаду и в запахе пловучем
Развернулся город незнакомый,
Пестрый и широкий.

Будто птица

К берегу песчаному прильнула,
Распустила хвост и разбросала,
Крылья разноцветные, а шею
Протянула к влаге, чтоб напиться.

Проплывали облака, вставали
Волны, и, дугою раскатившись,
Подымались и тонули звезды...

И сквозь этот запах и сквозь пенье
Все трубой и крепче выступали —
Утлое окно, сырые бревна
Низких стен и грубая посуда...

И когда растаял над столами
Стаей, ласковою и пловучей,

Легкий запах, влажная лежала
В черствых крошках и пролитом пиве
Брошенная роза, рассыпая
Лепестки.

А на полу огромный
Был оттиснут шаг, потекший снегом.

А в окне виднелся каменистый
Берег:

И, поскрипывая в пене
Грузною дощатой колыбелью,
Вздрагивало и моталось судно.

Видно было, как взлетели сходни,
Как у ворота столпились люди,
Как толкаемые закружились
Спицы ворота, как из кипящей
Пены медленная выползала
Цепь, наматываясь на точеный
И вращающийся столб, а после
По борту, разъеденному солью,
Вверх пополз широколапый якорь.

И, чудесным опереньем вспыхнув,
Развернулись паруса.

И ветер

Их напряг, их выпятил, и, круглым
Выпяченным полотном сверкая,
Судно дрогнуло и загудело...

И откинулись косые мачты, —
И поет пелька,

И доски стонут,

Цепи лязгают,
И свищет пена...
Вверх взлетай,
Свергайся вниз с разбега,
Снова к тучам, грохоча и воя,
Прыгай, судно!
Видишь — над тобою
Тучи разверзаются, и в небе
Топот,
Визг,
Сияние и грохот...

Воют воины.
На жарких шлемах
Крылья раскрываются и хлещут,
Звякают щиты, в ножнах широких
Двигутся мечи, и вверх воздеты
Пламенные копыя...
Слышишь, слышишь.
Древний ворон каркает, и волчий
Вой несется!..

Из какого жбана
Ты черпал клубящееся пиво,
Сумасшедший виночерпий!
Жаркой
Горечью оно пошло по жилам,
Разгулялось в сердце,
В кровь проникло
Дрожжевою силой, вылетая
Перегаром и хрипящей песней...

И летит,
И прыгает,
И воет

Судно, --

И полощется на мачте
Тряпка черная, где человеческий
Белый череп над двумя костями...

Ветр — в полотнище,

И волны — в кузов.

Вышел — в тучу,

Поворот.

Навстречу

Высятся полярные ворота, —

И над волнами жаровней круглой

Солнце выдвигается, —

И воды

Атлантической пылают солью...

1922

БАЛЛАДА О ВИТТИНГТОНЕ

Он мертвым пал. Моей рукой
Водила дикая отвага.
Ты не заштопаешь иглой
Прореху, сделанную шпагой.
Я заплатил свой долг, любовь,
Не возмущаясь, не ревнуя,
Не даром помню: кровь за кровь
И поцелуй за поцелуи.
О, ночь, в дожде и в фонарях,
Ты дуешь в уши ветром страха,
Сначала судьи в париках,
А там палач, топор и плаха.
Я трудный затвердил урок
В тумане ночи непробудной,
На юг, на запад, на восток
Мотай меня по волнам, судно.
И дальний берег за кормой,
Омытый морем, тает, тает,
Там шпага, брошенная мной,
В дорожных травах истлевает.
А с берега несется звон,
И песня дальняя понятна:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О, Виттингтон, вернись обратно!»

Был ветер в сумерках жесток,
А на заре сырой и злой
По днищу закрипел песок,
И судно, вздрогнув, затрещало.
Вступила в первый раз нога
На незнакомые от века
Чудовищные берега,
Не видевшие человека.
Мы сваи подымали в ряд,
Дверные прорубали ниши,
Из листьев пальмовых накат
Накладывали вместо крыши.
Мы балки подымали в высь,
Лопатами срывали скалы...
«О, Виттингтон, вернись назад», —
Вода у взморья шорковала.
Прокладывали наугад
Дорогу средь степных побережий.
«О, Виттингтон, вернись назад», —
Нам веял в уши ветер свежий.
И с моря доносился звон,
Гудевший немно и невнятно:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О, Виттингтон, вернись обратно!»
Мы дни и ночи напролет
Стругали, резали, рубили,
И грузный скотили плот
И отсклкнулись и поплыли.
Без компаса и без руля
Нас мчало тайными путями,
Покуда корпус корабля
Не встал, сверкая парусами.
Домой. Прощение дано

И снова сын приходит блудный.
Гуди ж на мачтах, полотно,
Звени и содрогайся, судно.
А с берега несется звон,
И песня близкая понятна:
«Уйди отсюда, Виттингтон,
О, Виттингтон, вернись обратно!»

1923

БОЛЬШЕВИКИ

І. ОТЪЕЗД

Да совершится!

По ложбинам в ржавой,
Сырой траве еще не сгнили трупы
В штиблетах и рогатых шапках.

Ветер

Горячим прахом не занес еще
Броневики, зарывшиеся в землю;
Дождь не размыл широкой колеи,
Где греческие проползали танки.

Да совершится!

Кровью иль баканом
Дощатые окрашены теплушки,
Скрежещут двери,

И навозный чад
Из сырости вагонной выплывает.
Там лошади просовывают морды
За жесткие перегородки.

Там

Они тугими топчутся ногами
В заржавленной соломе,

И, подняв
Хвосты крутые над широким крупом,
Горячие вываливают комья.

И неумелою защит рукой
В жестокою ходстину,
Острым краем
Топарщась,
В темноту и тишину
Задвинут пулемет.

А дальше — медным
И звонким животом прогрохотав,
На низкую нагружена платформу
Продымленная кухня.

И поет,
Откуда-то, не разберешь, откуда, —
Из будки ли, где стрелочник храпит,
Иль из теплушки, где махорка бродит, —
Скрипучая гармоника.

Уже
Размашистым написанные мелом
На крови иль бакане письма
Об Елисаветграде возвещают,
Уже по жирным рельсам просопел
Весь в нетопырьей саже и угаре
Широкозадый паровоз.

И вдруг
Толчок и свист.
Назад!
С размаха в стены
Дошчатые толкаются, гремя,
Закутанные пулеметы.

Кони
Шатаются
И, растопырив ноги

И шеи вытянув,
Храпят и ржут.
И далеко, за косогором, свист,
Сверкание колес и дребезжанье
Невидимых цепей.

И по краям,
Мигая и подпрыгивая, мчатся
Столбы,
Деревья,
Избы и овины.

Кружатся степи,
Зеленью горячей
И черными квадратами сверкая.
И снова свист.

Зеленый флаг дорогу
Свободную нам указывает.
Ветер

Клубящийся относит дым.
И вот
Бормочущей кирпичною змеей
На повороте изогнулся поезд.

Лети скорее!
Пусть гремят мосты,
Пускай коровы,
Спящие в дорожной
Траве,
Испуганно приподымают
Внимательные головы.

Пускай
Кружатся степи,
И трясутся шпалы.

Не все ль равно?

Наш путь — широк и буен!

И кажется,

Что впереди — вдали,

Привязанное натуго к вагонам,
Скрежещет наше сердце и летит
По скользким рельсам,

Грохоча и воя,

Чугунное и звонкое,

Насквозь

Проеденное копотью и дымом, —
Сопит насосам,

И сыплет искры,

И дымом истекает небывалым.

И мы,

В теплушках сбившиеся в кучу, —

Мы чувствуем,

Как лихорадка бьет,

И как чудовищный озноб колотит
Набухшее огнем и дымом сердце.

Вперед!

Крути, Гаврила!

И Гаврила

Накручивает.

И уже не поезд,

А яростный летит благовеститель —
Архангел Гавриил.

И голосит

Изъеденная копотью и ржюю
Его труба.

И дымные воскрылья

Над запотевшей плещутся спиной!

II. ГОРОД

Открой окно и выгляни

...Под ветром

Костлявые акации мотают
Ветвями, и по лужам осторожно
Подпрыгивает дождевая рыбь...
И ты припоминаешь дождь и ветер,
И улицы, в акациях и лужах,
И горький запах, что идет ст моря.
И голоса, и грохот колеса.

.
В те дни настороженные предместья
Винтовки зарывали по подвалам,
Шептались, перемигивались, ждали,
Как стая лаек, броситься готовых
В медвежий лог, чтобы рычать и грызть.
А город жил необычайной жизнью...
Огромными нарывами вспухали
Над кабаками фонари — и гулко
Нерусский говор смешивался с бранью
Извозчиков и забулдыг ночных.
Пехота иностранцев проходила
По мостовым. И голубые куртки
Морскою отливали синевой,
А фески, вспыхивая, расцветали
Не розами, а кровью. Дни за днями
По улицам на мулах, на тачанках
Свозили пулеметы, хлеб и сахар...

.
Предместья ожидали.

На заводах

Листовки перечитывались...

Слово

О людях, двигающихся, как буря,
Входило в уши и росло в сердцах...
Но город жил в горячем перегаре
Пивных, распахнутых наотмашь, в чаде
Английских трубок, в топоте тяжелых
Морских сапог, в румянах и прическах
Беспутных женщин, в шорохе газетных
Листов и звяканьи стаканов, полных
Вином, пропахнувшим тоской и морем.

А в это время с севера вставала
Орда, в шапахах, в башлыках, в тулупах.
Она топтала снежные дороги,
Укатанные ветром и морозом.
Она дышала потом и овчиной,
Она отогревалась у случайных
Костров — и песнями разогревала
Морозный воздух, гулкий, как железо.
Здесь были все:

Румяные эстонцы,
Привыкшие к полету лыж и снегу,
И туляки, чьи бороды примерзли
К дубленным кожухам, и украинцы
Кудлатые и смуглые, и финны
С глазами скользкими, как чешуя.
На юг, на юг!..

Из деревень, забытых
В колючей хвое, из рыбачьих хижин,
Из городов, где пропитался чадом
Густой кирпич, из юрт, покрытых
шерстью, —
Они пошли, ладонями сжимая

Свою пятизарядную надежду.
На юг, на юг — в горячий рокот моря,
В дрожь тополей, в раскинутые степи.

А город ждал...

1922 - 1924

ОДЕССА

Клыкастый месяц вылез на востоке,
Над соснами и костяками скал...
Здесь он стоял...
Здесь рвался плащ широкий,
Здесь Байрона он нараспев читал...
Здесь в дымином
Голубином опереньи
И ночь и море
Стлались перед ним...
Как летний дождь,
Приходит вдохновенье,
Пройдет над морем
И уйдет, как дым...
Как летний дождь,
Приходит вдохновенье,
Осыплет сердце
И в глазах сверкнет...
Волна и ночь в торжественном движеньи
Слагают ямб...
И этот ямб поет...
И с той поры,
Кто бродит берегами
Средь низких лодок
И пустых песков, —
Тот слышит кровью, сердцем и глазами

Раскат и россыпь пушкинских стихов
И в каждую скалу
Проникло слово,
И плещет слово
Меж плотин и дамб,
Волна отхлынет
И нахлынет снова, —
И в этом беге закипает ямб...
И мне, мечтателю,
Доныне любви:
Тяжелых волн рифмованный поход,
И негритянские сухие губы,
И скулы, выдвинутые вперед...
Тебя среди воинственного гула
Я проносил
В тревоге и боях,
«Твоя, твоя!» — мне пела Мариула
Перед костром
В покинутых шатрах...
Я снова жду:
Заговорит трубою
Моя страна,
Лежащая в степях;
И часовой, одетый в голубое,
Укроется в днестровских камышах...
Становища раскинуты заране, —
В дубовых рощах
Голоса ясней,
Отверженные,
Нищие,
Цыгане,
Мы подымаем на поход коней...
О, этот зной!

Как изнывает тело, —
Над Бессарабией звенит жара...
Поэт походного политотдела,
Ты с нами отдыхаешь у костра...

Довольно бреда...
Только волны тают,
Москва шумит,
Походов нет, как нет...
Но я благоговейно подымаю
Уроженный тобою пистолет...

1923

I

ПТИЦЕЛОВ

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе яблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный.
И звенит манок бузинный, —

Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузиной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1918

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Весенним утром кухонные двери
Раскрыты настежь, и тяжелый чад
Плывет из них. А в кухне толкотня:
Разгоряченный повар отирает
Дырявым фартуком свое лицо,
Заглядывает в чашки и кастрюли,
Приподымая медные покрышки,
Зевает и подбрасывает уголь
В горячुक и без того плиту.
А поваренок в колпаке бумажном,
Еще неловкий в трудном ремесле,
По лестнице карабкается к полкам,
Толчет в ступе корицу и мускат,
Неопытными путает руками
Коренья в банках, кашляет от чада,
Вползающего в ноздри и глаза
Слезящего...

А день весенний ясен,
Свист ласточек сливается с ворчаньем
Кастрюль и чашек на плите, мурлычет,
Облизываясь, кошка, осторожно
Под стульями подкрадываясь к месту,
Где незамеченным лежит кусок
Говядины, покрытый легким жиром.
О, царство кухни! Кто не восхвалял

Твой синий чад над жарящимся мясом,
Твой легкий пар над супом золотым?
Петух, которого, быть может, завтра
Зарежет повар, распевает хрипло
Веселый гимн прекрасному искусству,
Труднейшему и благодатному...
Я в этот день по улице иду,
На крыши глядя и стихи читая. —
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И синий чад вдыхая, вспоминаю
О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил...
Умевший все и ничего не знавший,
Без шпаги — рыцарь, пахарь — без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Веселый чад, плывущий из корчмы;
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копченый окорок — и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,
И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Веселый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова еще не выдуманной песни...
Что из того? Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство,
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах шпиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,

И песни разучусь я сочинять...
Что из того — мне хочется много...
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу и тотчас
В ответ услышу песню петуха!..
Певец без лютни, воин без оружия,
Я встречу дни, как чаши, до краев
Наполненные молоком и медом.
Когда ж усталость овладеет мной
И я засну крепчайшим смертным сном, --
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый, ясеневый посох --
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,
Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выпастся пора!»

1918

НОЧЬ

У же окончился день — и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак,
Вколотив последний гвоздь;
Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...
Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры — ночной горшок
Задвигая под кровать...
Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...
И вот, надвинув кеши на лоб
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...
И, ундервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.
Антенны подрагивают в ночи

От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...
И только мне десятый час
Ничего не принес в дар:
Ни чая, пахнувшего женой,
Ни пачки папирос;
И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...
А сон обволакивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездий пух;
И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд..
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перпстым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой;
Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают: «Не заплати!»
Мы голову — прочь, мы руки — долой!
И кинем голодным псам!..»
Там круглые торты стоят Москвой
В кремлях леденцов и слив;

Там тысячи тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...
А в дверь ненароком: стоит атлет
Средь сине-багровых туш!
Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...
Он вытянет руку — весы не в лад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,
Летит павлиньим пером.
И пыжкие буквы
«МСПО»
Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Рычи, желудочный сок!)...
И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльною мышью по горлу вниз
Падает в пищевод...
И я содрогаюсь от скрипа когтей,
От мышьею возни — хвоста,
От медного запаха слюны,
Заливающего гортань...
И в мире остались — одни, одни,
Одни, как поход планет,
Ворота и обручи медных букв.
Начищенные огнем!
Четыре буквы:
«МСПО»,
Четыре куска огня:
Это —

Мир Страстей, Польшай Огнем!
Это —
Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!
Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!
И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовый сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы.
Различающий крови звон?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!
Лишь поет нищета у моих дверей.
Лишь в печурке юлит огонь.
Лишь иссякла свеча — и луна плывет
В замерзающем стекле...

1926—1927

II

ПЕСНЯ О РУБАШКЕ

(Томас Гуд)

От песен, от скользкого пота —
В глазах растекается мгла.
Рабогай, работай, работай
Пчелой, заполняющей соты,
Покуда из пальцев сналета
Не выпрыгнет рыбкой игла!..

Швея! Этой ниткой суровой
Прошито твоё бытие...
У лампы твоей бестолковой
Поет вдохновенье твое,
И в щели проклятого крова
Невидимый месяц течет.

Швея! Отвечай мне, что может
Сравниться с дорогой твоей?..
И хлеб ежедневно дороже,
И голод постылый тревожит,
Гниет одинокое ложе
Под стужей осенних дождей,

Над белой рубашкой склоняясь,
Ты легкою водишь иглой, —
Стежков разлетается стая
Под бледной, как месяц, рукой,
Меж тем как, стекло потрясая,
Норд-ост заливается злой.

Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...
От капли чадающего света
Глаза твои влагой одеты...
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...

О вы, не узнавшие страха
Бездомных осенних ночей!
На ваших плечах — не рубаха,
А голод и пение швей,
Дни, полные ветра и праха.
Да темень осенних дождей!

Швея! Ты не помнишь свободы.
Склонясь над убогим столом,
Не помнишь, как громкие воды
За солнцем идут напролом,
Как в пламени ясной погоды
Касатка играет крылом.

Стежки за стежками, без счета,
Где нитка тропой залегла, —
— Работай, работай, работай, —
Поет, пролетая, игла, —
Чтоб капля последнего пота
На бледные щеки легла!..

Швея! Ты не знаешь дороги,
Не знаешь любви наяву,
Как топчут веселые ноги
Весеннюю эту траву...
...Над кровлею месяц убогий,
За ставнями ветры ревут...

Швея! За твоею спиною
Лишь сумрак шумит дождевой —
Ты медленно бледной рукою
Сшиваешь себе для покоя
Холстину, что сложена вдвое,
Рубашку для тьмы гробовой...

Работай, работай, работай,
Покуда погода светла,
Покуда стежками без счета
Играет, летая, игла.
Работай, работай, работай.
Покуда не умерла!..

1923

ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

(Р. Бёрнс)

Три корабля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон
Ячменное Зерно!

Погибни, Джон, — в дыму, в пыли,
Твоя судьба темна!
И вот взрывают короли
Могилу для зерна...

Весенний дождь стучит в окно
В апрельском гуле гроз, —
И Джон Ячменное Зерно
Сквозь перегной пророс...

Весенним солнцем обожжен
Набухший перегной, —
И по ветру мотает Джон
Усатой головой...

Но душной осени дано
Свой выполнить урок, —
И Джон Ячменное Зерно
От груза занемог...

Он ржавчиной покрыт сухой,
Он — в полевой пыли...
— Теперь мы справимся с тобой!
Ликуют короли...

Косою звонкой срезан он,
Сбит с ног, повергнут в прах.
И скрученный веревкой Джон
Трясется на возах...

Его цепами стали бить.
Кидали вверх и вниз, —
И, чтоб вернее погубить,
Подошвами прошлись...

Он в ямине с водой — и вот
Пошел на дно, на дно...
Теперь, конечно, пропадет
Ячменное Зерно!..
И плоть его сожгли сперва,
И дымом стала плоть.
И закружились жернова,
Чтоб сердце размолоть...

.....
Готовьте благородный сок!
Ободьями скреплен
Бочонок, сбитый из досок,
И в нем бунтует Джон...

Три короля из трех сторон
Собрались заодно, —

Пред ними в кружке ходит Джон
Ячменное Зерно...

Он брызжет силой дрожжевой.
Клокочет и поет,
Он ходит в чаше круговой.
Он пену на пол льет...

Пусть не осталось ничего.
И твой развеян прах,
Но кровь из сердца твоего
Живет в людских сердцах!..

Кто, горьким хмелем упоен,
Увидел в чаше дно —
Кричи:
— Вовек прославлен Джон
Ячменное Зерно!

1923

РАЗБОЙНИК

(В. Скотт)

Брэнгельских роц
Прохладна тень,
Незыблем сон лесной;
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

Над лесом
Снизилась луна.
Мой борзый конь храпит...
Там замок встал,
И у окна
Над рукоделием.
Бледна,
Красавица сидит...

— Тебе, владычица лесов.
Бойниц и амбразур,
Веселый гимн
Пропеть готов
Бродячий трубадур...

Мой конь,
Обрызганный росой.

Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле
Есть место для двоих.
Надежны стремяна!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна! --

Она поет:
— Прохладна тень.
И ясен сон лесной...
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

О; счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить.
И я хочу
В лесах,
В лесах,
Вдвоем с Эдвином жить...

От графской свиты
Ты отстал,
Ты жаждою томим;
Охотничий блестит кинжал
За поясом твоим,

И соколиное перо
В почи
Горит огнем, —
Я вижу
Графское тавро
На скакуне твоём!

— Увы!.. Я графов не видал,
И род
Не графский мой!
Я их поместья поджигал
Полуночной порой!..
Мое владенье —
Вдаль и вширь
В почных лесах лежит,
Над ним кружится
Нетопырь,
И в нем
Сова кричит!..

Опа поет:
— Прохладна тень.
И ясен сон лесной,
Здесь тьма и лень.
Здесь полон день
Весной и тишиной!
О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон любить!..
И я хочу
В лесах,
В лесах
Воем с Эдвином жить!..

Веселый всадник,
Твой скакун
Храпит под чепраком.
Теперь я знаю:
Ты — драгун
И мчишься за полком...

Недаром скроен
Твой наряд
Из тканей дорогих,
И шпоры длинные горят
На сапогах твоих!.. —

— Увы! Драгуном не был я,
Мне чужд солдатский строй:
Казарма вольная моя —
Сырой простор лесной...

Я песням у дроздов учусь
В передразветный час,
В боярышник лисицей мчусь —
От вражьиx скрыться глаз...

И труд необычайный мой
Меня к закату ждет,
И необычная за мной
В тумане смерть придет...
Мы часа ждем
В ночи, в ночи,
И вот —
В лесах,
В лесах
Коней седлаем,

**И мечи
Мы точим на камнях...**

**Мы знаем
Тысячи дорог,
Мы слышим
Гром копыт,
С дороги каждой
Грянет рог —
И громом пролетит...**

**Где пуля запоеет в кустах.
Где легкий меч сверкнет,
Где жаркий заклубится прах,
Где верный конь заржет...**

**И листья
Плещутся, дрожа,
И птичий
Молнет гам,
И убегают сторожа,
Открыв дорогу нам...**

**И мы несемся
Вдаль и вширь,
Под лязганье копыт;
Над нами реет
Нетопырь,
И вслед
Сова кричит...**

**И нам не страшен
Дьявол сам,**

Когда пред черным днем
Он молча
Бродит по лесам
С коптящим фонарем...

И графство задрожит, когда,
Лесной взметая прах,
Из лесу вылетит беда
На взмыленных конях...

Мой конь,
Обрызганный росой
Играет и храпит,
Мое поместье
Псд луной
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле есть место
Для двоих,
Надежны стремена!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна! —

Она поет:
— Брэнгельских роц
Что может быть милей?
Там по ветвям
Стекает дождь,
Там прядает ручей!

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!..

1923

III

АРБУЗ

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.

Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь.
На скучном зевать карауле,

Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол.
И выпихнут месяц волнами...

Свежак задувает!

Наотмашь!

Пошел!

Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

В два пальца, по-боцмански, ветер
свистит,

И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны — навывлет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем наощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет, как рынок.
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель,
Последняя наша путина!
Бозлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил.
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —
Мне жизни веселой теперь не сберечь,
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает.
Чтоб воздуху таять и греться;

Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

1924

КОНТРАБАНДИСТЫ

По рыбам, по звездам
Приносят шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
— Доброе дело! Хорошее дело!
Чтоб звезды обрызгали
Грудю наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...
Ай, греческий парус!
Ай, Черное море...
Ай, Черное море...
— Вор на воре!
.
Двенадцатый час —

Осторожное время.
Три пограничника,
Ветер в темень.
Три пограничника,
Шестеро глаз —
Да моторный баркас...
Шестеро глаз —
Три пограничника!
Вор на дозоре!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
— Доброе дело!
Хорошее дело!
Чтобы по трубам,
В ребра и винт,
Виттовой пляской
Двинул бензин.
Ай, звездная полночь!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!
Вор на воре!
.
Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бугшпритом склоненным
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,

Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильной, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять,
Скользкий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усамого грека
На черной корме...
Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу.
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот,—
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
— Ай, Черное море,
Хорошее море!..

IV

ОСЕНЬ

По жнитвам, по дачам, по берегам
Проходит осенний зной.
Уже необычнее по ночам
За хатами синий вой.
Да здравствует осень!
Сады и степь,
Горячий морской песок, —
Пропитаны ею, как черствый хлеб,
Который в спирту размок.
Я знаю, как тропами мрак прошит
И полночь пуста, как гроб;
Там дичь и туман,
В травяной глуши,
Там прыгает ветер в лоб!
Охотничьей ночью я стану там,
На пыльном кресте путей,
Чтоб слушать размашистый плеск и гам
Гонимых на юг гусей!
Я на берег выйду:
Густой, густой
Туман от соленых вод

Клубится и тянется над водой.
Где рыбий косяк плывет.
И ухо мое принимает звук,
Гудя, как пустой сосуд;
И я различаю:
На юг, на юг
Осетры плывут, плывут!
Шипенье подводного песка.
Неловкого краба ход,
И чаек полет, и пробег бычка.
И круглой медузы ход.
Я утра дождусь...
А потом, потом,
Когда распахнется мрак,
Я на гору выйду...
В родимый дом
Направлю спокойный шаг.
Я слышал осеннее бытие,
Я море узнал и степь,
Я свистну собаку, возьму ружье
И в сумку засуну хлеб...
Опять упадает осенний зной,
Густой, как цветочный мед, —
И вот над садами и над водой
Охотничий день встает... ,

1923

БЕССОННИЦА

Если не по звездам — по сердцебиенью
Полночь узнаешь, идущую мимо...
Сосны за окнами — в черном опереньи,
Собаки за окнами — ключьями дыма.
Все, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле?
Уши мои, что ли, не слышат вольно?
Пальцы мои, что ли, окостенели?..
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают в гулак размером!
Буря от Волги, от низких побережий
Черные деревни гонит карьером...
Вот уже по стеклам двинуло дыханье
Ветра и стужи и каторжной погоды...
Вот закачались, загикали в тумане
Черные травы, как черные воды...
И по этим водам, по злому вою,
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое,
Круглом и долгом, как гром колесный...
Словно корабельные пылают знаки,
Стекла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,
Лязгая цепями, скуля по-волчьи...

Лопнул частокол, разлетевшись пеной.
Двор позади. . . И на просеку разом
Сруб вылетает! Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.
Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая. . .
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звезд — золотых баранок;
Это расступается Черное море
Черных сосен и черного тумана! . .
Это летит по оврагам и скатам
Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному
прибою. . .

Это стремглав, наудачу, в прорубь.

Это, деревянные вздувая ребра,
В гору вылетая, греми под гору,
Дом пролетает тропой недоброй. . .
Хватит! Довольно! Стой!

На разгоне

Трудно удержаться! Еще по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора еще играют,
Ветер от разбега еще не сгинул,
Звезды еще рвутся в порыве гонок. . .
Хватит! Довольно! Стой!

На перину

Падает откинутый толчком ребенок. . .
Только за оконницей проходят росы,
Сосны кивают синим опереньем. . .

Вот они, сбитые из бревен и геса,
Дом мой и стол мой: мое вдохновенье!
Прочно установлена косая хвоя,
Врыт частокол, и собака стала.
Милая! Где же мы?
— Дома, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала...

1927

ВЕСНА

В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже окунувшийся
В масло по локоть
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
— Ах! Вам не хочется ль
Под-ручку пройтись?...
— Мой милый. Конечно.
Хотится! хотится!.. —
А там, над травой,
Над речными узлами,
Весна развернула
Зеленое знамя, —

И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...
На голом прутье,
Над водой невеселой.
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,
Первою щукой
Стреляют плеса;
И звезды
Над первобытною тишью
Распороты первой
Летучей мышью...
Мне любви традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги,
Метанье икры...
Но я — человек,
Я — не зверь и не птица:
Мне тоже хочется
Под-ручку пройтись;
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето...
Чтоб, волком трубя
У бараньего трупа.
Далекую течку
Ноздрями ощупать,

Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру:
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей:
Нырять, подползать
И бросаться в угон, —
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды, —
И поезд, крутящийся
В мокрой траве, —
Чудовищный выюн
С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
Воет и злится:
— Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!

V

ГОЛУБИ

Весна. И с каждым днем невнятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина.

Пора! Полощет плат крылатый —
И разом улетают в гарь
Сизоголовый и хохлатый,
И взмывший веером почтарь.

О, голубиная охота!
Уже воркующей толпой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой!

Двадцатый год! Но мало, мало
Любви и славы за спиной.
Лишь двадцать капель простучало
О подоконник жестяной.

Лишь голуби да голубая
Вода. И мол. И волволом.

Лишь сердце, тишину встречая,
Все чаще ходит ходуном...

Гудит година путевая,
Вагоны, ветер полевой.
Страда распахнута другая,
Страна иная предо мной

Через Ростов, через станицы.
Через Баку, в чаду, в пыли —
Навстречу Каспий — и дымится
За черной солью Энзели.

И мы на вражеские части
Верблюжий повели поход.
Навыворот летело счастье,
Навыворот, наоборот!

Колес и кухонь гул чугунный
Нас провожал из боя в бой,
Через малярийные лагуны,
Под малярийною луной.

Обозы врозь и мулы — в мыле,
И в прахе гор, в песке равнин,
Обстрелянные, мы вступили
В тебя, наказанный Казвин!

Близ углового поворота
Я поднял голову — и вот
Воскрылий, пуха и помета
Рассеявшийся вихрь плывет!

На плоской крыше плат крылатый
Полощет и взлетают в гарь
Сизоголовый и хохлатый
И взмывший веером почтарь!

Два года боя. Не услышал,
Как месяцы ушли во мглу:
Две капли стукнули о крышу
И покатались по стеклу...

Через Баку, через станицы,
Через Ростов, назад, назад,
Туда, где Знаменка дымится
И пышет Елисаветград!

Гляжу: на дальнем повороте —
Ворота, сад и сеновал;
Там в топоте и конском поте
Косматый всадник проскакал.

Гони! Через дубняк дремучий,
Вброд или вплавь гони вперед!
Взвьется шашка — и певучий,
Скрутившись, провод упадет...

И вот столбы глухонемые
Нутром не стонут, не поют.
Гляжу: через поля пустые
Тачанки ноют и ползут...

Гляжу: близ Елисаветграда,
Где в суходоле будяки,
Среди скота, котлов и чада
Лежат верблюжские полки.

И ночь и сон. Но будет время —
Убудет ночь, и сон уйдет.
Загикает с тачанки в темень
И захлебнется пулемет. . .

И нива прахом пропылится,
И пули запоют впотьмах,
И конница по ржам помчится —
Рубить и ржать. И мы во ржах.

И вот станицей журавлиной
Летим туда, где в рельсах лег,
В певучей стае тополиной,
Вишневый город меж дорог.

Полощут кумачом ворота,
И разом с крыши угловой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой.

Опять полощет плат крылатый,
И разом улетают в гарь
Сизоголовый и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

И снова год. Я не услышал,
Как месяцы ушли во мглу.
Лишь капля стукнула о крышу
И покатилась по стеклу. . .

Покой! . . И с каждым днем невнятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина. . .

Не попусту топтались ноги
Через рокот рек, чрез пыль полей,
Через овраги и пороги —
От голубей до голубей!

1922

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони его жали...
Що мусимо робити?

Т. Шевченко („Гайдамаки“)

І

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогою степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесьи чистом —
На дебелые хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядишь толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести нечистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,

А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая.
— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида...
По овратам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
— Выгребайте из канавы
Спрятанное жито! —
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!
Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?

— Штоль? Который, человек?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты...
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!
Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

.
Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

II

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса, —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого равнина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребьячье мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота;
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным,
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стонем стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса. . .

III

Хлеба собрано немного —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган,
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы? —
В это время по дороге
Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брешут псы сторожевые,
Запевают певни.
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо:
— Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан! —

Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой,
Сизою, степною,—
Встретился Иосиф Коган
С Нестером Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться!

IV

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня — Украина!..
На твоём степном раздольи
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле,
Да ворона кричет...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,

На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;
Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает..
Растеклось на белом теле
Солнце молодое;
— На, Панько, когда застрелишь—
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Все же бывший продармеец,
Хороший знакомый!.. —
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воеет
Опанасу в уши:
— За волами шел когда-то,
Воевал солдатом,
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом? —
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе! Опанасе!
Катюга! Катюга!—
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело! —
И равнина волком воеет —
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травой:

— Катюга! Катюга!.. —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:
Он грустит, как с перепою,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стона
Подошла усталость,
Повернулся:
— Три патрона
В обойме осталось... —
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
— Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом!.. —
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган.
— Опанас, работай чисто.
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!.. —

Тишина в степном раздольи,
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,

Начал сваливаться набок,
Падать понемногу...
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

V

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рсжи гладки,
Постушь удалая,
Амуниция в порядке,
Как при Николае.

Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.

.
Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
— Надобно с большевиками
Нам принять сраженье,
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!.. —
Как батько с размаха двинул
По столу рукою,
Как батько с размаха грянул
По земле ногою:
— Ну-ка, выбей перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища!
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шанок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!.. —

.
Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брещут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим —
Смутно изголовье;
Див сулит полночным ключем
Гибель Приднепровью.
А за темными возами,
За чумацкой сонью,
За ковыльными чубами.
За крылом вороньим, —
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое. . .

VI

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вробень —
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский. . .
Над конем играет пашка

Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи
От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
— Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой
Добудем комбрига!.. —
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа занялася,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шапку,
Грозится глазами:
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..
.
Опанасе, что с тсбою?
Поник головою,
Повернулся, покачнулся,
В траву скovyрнулся...
Глаз над левою скулою.

Затек синевою...
Молча падает ча спину,
Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля
Развеена в поле!..

VII

Балта — городок приличный,
Городок, что надо:
Нет нитде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брыцзе, в кавунах, в укропе
Звонк день базарный;
Голубей гоняет хлопец
С каланчи пожарной...
Опанасе, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малахольным;
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом,
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу

Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте, без обмана,
Не испуга ради,
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде.
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит? —
— Что я знал: коня, подругу,
Саблю да поводья!
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном гrome,
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога!..
..Одного не позабуду,
Как скончался Коган..
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,

Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!.. —

.
Опанасе, наша деля
Туманом повита!..

VIII

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладоши не хлопнешь!
Пальцы дружные ослабли,
Не вытасят сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.
Что ты видишь? Что ты слышишь?
Что знаешь? Чем дышишь?
Ночь горячая, сухая,
Да темень сарая.
Тлеет лампочка под крышей.
Эй голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа

И щеки из воска ..
Улыбается сурово:
— Приятель, здорово!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!
Опасас, твоя дорога —
Не дальше порога...

ЭПИЛОГ

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды...
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
Может, под кустом ракиты,
Может, на погосте...
Плещет крыжень сизокрылый
Над водой днестровской;
Ходит слава над могилой,
Где лежит Котовский...
За бандитскими степями
Не гремят копыта:
Над горячими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут;
Да идет красноармеец
На побывку к дому...
Остановится и глянет
Синими глазами —
На бездомный круглый камень,

Вымытый дождями.
И нагнется и подымет
Одинокий камень:
На ладони — белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв
Мертвую прохладу:
— Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб, как надо! —
И пойдет через равнину,
Через омут зноя,
В молодую Украину,
В жито молодое...
.
Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной
Как Иосиф Коган!..

1926

VI

СТИХИ О СОЛОВЬЕ И ПОЭТЕ

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет.
На Трубную выйдешь — и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит...

Куда как приятны прсгулки весной:
Бредешь по садам, пробегаешь базаром!..
Два солнца навстречу: одно над землей,
Другое — расчищенным вдрызг самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...
Под клеткою солнце кипит на столе —
Меж чашек и острых кусков рафинада...

Любовь к соловьям — специальность моя,
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой — вразброд стукотня,
Кукушкина песня и дробь рассыпная...

Ко мне продавец:
Покупаете? Вот

Как птица моя на базаре поет!
Червонец — не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет сна по-иному... —

От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаясь трамвая,
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает!

Нас двое!
Бродяга и ты — соловей,
Глазастая птица, предвестница лета,
С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течет и в канавы ныряет
Нас двое.
Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое...
А нашего номера нет...
Земля рассолодела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.
Нас двое...
Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее и воздух угарней —
Весеннее солнце стоит на пути.
Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш псевнист

Распродан с лотка...
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?

Мы пойманы оба,
Мы оба — в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет
в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан.
Взвешен.
Расценен в рублях...
Греми же в зеленых кусках коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..

1925

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды,—
И горечь полыни на наших губах...

Нам нож — не по кисти,

Перо — не по нраву,

Кирка — не по чести,

И слава — не в славу:

Мы — ржавые листья

На ржавых дубах...

Чуть ветер,

Чуть север —

И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?

Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

Потопчут ли нас трубачи молодые?

Взойдут ли над нами созвездья чужие?

Мы — ржавых дубов облетевший уют...

Бездомною стужей уют раздуваем...

Мы в ночь улетаем!

Мы в ночь улетаем!

Как спелые звезды, летим наугад...

Над нами гремят трубачи молодые,

Над нами восходят созвездья чужие,

Над вами чужие знамена шумят...

Чуть ветер, —

Чуть север, —

Срывайтесь за ними,

Неситесь за ними,

Гонитесь за ними,

Катитесь в полях,

Запевайте в степях!

За блеском штыка, пролетающим в тучах,

За стуком копыта в берлогах дремучих.

За песней трубы, потонувшей в лесах...

1926

РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ Н. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

— Где нам столкнуться!

Вы — другой народ!..

Мне — в апреле двадцать,

Вам — тридцатый год.

Вы — уже не юноша,

Вам ли о войне... —

— Коля, не волнуйтесь,

Дайте мне... .

На плацу, открытом

С четырех сторон,

Бубном и копытом

Дрогнул эскадрон;

Вот и закачались мы

В прозелень травы, —

Я — военспецом,

Военкомом — вы... .

Справа — курган,

Да слева курган;

Справа — нога,

Да слева нога;

Справа няган,

Да слева шапка,

Цейсс посередке,

Сверху — фуражка... .

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак. . .

Степям и дорогам
Не кончен счет:
Камням и порогам
Не найден счет,
Кружит паучок
По загару щек,
Сабля да книга,
Чего еще?

(Только ворон выслан
Сторожить в полях. . .
За полями Висла,
Ветер за поляк;
За полями ментик
Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
Саблю наголо!

Проклюют навывлет,
Поддадут коленом,
Голову намылят
Лошадиной печой. . .
Степь заместо простыни:
Натянули — раз!
. . . Добротными саблями
Побреют нас. . .
Покачусь порубан,
Растянусь в траве, —
Привалюся чубом

К русской голове...
Не дождалась гроба мы,
Кончили поход...
На казенной обури
Ромашка цветет...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет певчегого» он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка,
Затрубите в рог»...
(Старая романтика,
Черное перо!)...
— Багрицкий, довольно!
Что за бред!..
Романтика уволена —
За выслугой лет;
Сабля — не гребенка.
Война — не спорт;
Довольно фантазировать,
Закончим спор,
Вы — уже не юнша,
Вам ли о войне.
— Коля, не волнуйтесь.
Дайте мне...
Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выцвела трава еще
В солдатское сукно;
Еще бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,

Распалась, рассеклась,
И книги лежат...
На пустошах, где солнце
Закрыто в пух ворон,
Туман, костер, бессонница
Морочат эскадрон, —
Мечется во мраке
По степным горбам:
«Ехали казаки,
Чубы по губам...»

А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах
Буквы муравьями
Тлеют на листах...
(Над вороньим кругом —
Звездяный лед.
По степным яругам
Ночь идет...)

Нехристь или выкрест
Над сухой травой, —
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.
Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,

Сельвинский,
Пастернак...
(Кочуют вороны,
Кружат кусты.
Вслед эскадрону
Летят листья.)

Чалый иль соловый
Конь храпит.
Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово
Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,
То, о чем мы думали,
Ведет штыки..
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы --
Это пустяки!

ТРЯСИНА

І. НОЧЬ

Ежами в глаза налезла хвоя,
Прели стволы, от натуги воя...

Дятлы стучали, и совы стыли;
Мы челноки по реке пустили.

Трясина кругом да камыш кудлатый,
На черной воде кувшинок заплаты.

А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали;

Месяц сосали, хвостом плескали,
На черной воде кувшинок заплаты.

Комар начинал. И с комарьим стоном
Трясучая полночь шла по затонам.

Шла в зыбуны по сухому краю,
На каждый камыш звезду натывая...

И вот поползли, грызясь и калечась,
И гад, и червяк, и другая нечисть...

Шли, раздвигая камыш боками,
Волки с булыжными головами.

Видели мы — и поглядка прибыль —
Узких лисиц, золотых, как рыбы...

Пар оседал малярийным зноем,
След наливался болотным гноем,

Прямо в глаза им, сквозь синий студень,
Месяц глядел, непонятный людям...

Тогда-то в болотном нутре гудело:
Он выходил в ночное дело...

С треском ломали его колена
Жесткий тростник, как сухое сено.

Жиры и мышц жилистая сила —
Вверх не давала поднять затылок.

В маленьких глазках — в болотной мути —
Месяц кружился, как капля ртути.

Он проходил, как меха вздыхая,
Сизую грязь на гачах вздымая.

Мерно покачиваем трясинной, —
Рылом в траву, шевеля щетиной.

На водопой, по нарываю кочек,
Он продвигался — обломок ночи,

Не замечая, как на востоке
Мокрой зарю простунают соки;

Как над стеной камышевых щеток
Утро восходит из птичьих глоток;

Как в очерете, тайно и сладко,
Поет болотная лихорадка...

.
Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам,

Время настало в клыкастый камень
Грнуть свинцовыми кругляками.

.
А между тем по его щетине
Солнце легло, как багровый иней —

Солнце, распухшее, водяное,
Встало над каменной спиною.

Так и стоял он в огнях без счета,
Памятником, что воздвигли болота.

Памятник — только вздыхает глухо,
Да поворачивается ухо...

Я говорю с ним понятной речью:
Самую крупную картсчью.

Раз!
Только ухом повел — и разом
Грудью мотнулся и дрогнул глазом.

Два!

Закружились камыш с кугою,
Ахнул зыбун под его ногою...

В солнце, встающее над трясинной,
Он устремился, горя щетиной.

Медью налитый, с кривой губою,
Он, убегая, храпел трубою.

Вплавь по воде, вперебежку сушей,
В самое пекло вливаясь тушей, —

Он улетал, уплывал в туманы,
В княжество солнца, в дневные страны.

А с челнока два пустых патрона
Кинул я в черный тайник затона.

II. ДЕНЬ

Жадное солнце вставало дыбом,
Жабры сушило в полоях рыбам;

В жарком песке у речных излучий
Разогревало яйца гадючьи;

Сыпало уголь в берлогу волчью,
Птиц умывало горячей желчью;

И, расправляя перо и жало,
Мокрая нечисть солнце встречала.

.

Тропки в трясине, в лесу просека
Ждали пришествия человека.

.
Он надвигался, плечистый, рыжий,
Весь обдаваемый медной жижей,

Он надвигался — и под ногами
Брызгало и дробилось пламя.

И отливало пудовым зноем
Ружье за каменную спиною.

Через овраги и буераки
Прыгали огненные собаки.

В сумерки, где над травой зыбучей
Зверь надвигался косматой гучей,

Где в камышах, в земноводной прелм,
Сердце стучало в огромном теле,

И по воздрям все чаще и чаще
Воздух врывался струей свистящей.

Через болотную гниль и одурь
Передвигалась башки колода

Кряжистым лбом, что порос щетиной.
В солнце, встающее над трясинной.

Мутью налитый болотяною,
Черный, истыканный сединою, —

Вот он и вылез над зыбунами
Перед убийцей, одетым в пламя.

И на него, просверкав во мраке,
Ринулись огненные собаки.

Задом в кочкарник упершись твердо,
Зверь превратился в крутую морду,

Тело исчезло, и ребра сжались,
Только глаза да клыки остались,

Только собаки перед клыками
Вертятся огненными языками.

— Побереги! — и, взлетая криво,
Псы низвергаются на загривок.

И закачалось и загудело
В огненных пъявках черное тело.

Каждая быстрая капля крови,
Каждая кость теперь наготове.

Пот оседает на травы ржою,
Едкие слюни текут вождою.

Дыбом клыки, и дыханье суше, —
Только бы дернуться ржавой туше...

Дернулась!
И, как листье сухое,
Псы облетают, скребясь и воя.

И перед зверем открылись кругом
Медные рощи и топь за лугом.

И, обдаваемый красной жижей,
Прямо под солнцем убийца рыжий.

И побежал, ветерком катимый,
Громкий, сухой одуванчик дыма.

В брюхо клыком — не найдешь дороги,
Двинулся — но подвернулись ноги.

И заскулил и упал, и вольно
Грянула псиная колокольня.

И над косматыми тростниками
Вырос убийца, одетый в пламя...

1927—1928

ПАПИРОСНЫЙ КОРОБОК

Раскуренный дочиста коробок.
Окурки под лампою шаткой...
Он гость — я хозяин. Плывет в уголок
Студеная лодка — кроватька...

— Довольно! Пред нами другие пути.
Другая повадка и хватка! —
Но гость не встает. Он не хочет уйти.
Он пальцами, чище слоновой кости,
Терзает и вертит перчатку...

Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу.
Вихры над веснушками взреяли, —
Из гроба, с обложки ли от папирос —
Он в кресла влетел и к пружинам прирос.
Перчатку терзая — Рылеев...

— Ты наш навсегда! Мы повсюду
с тобой.

Вглянни! —

И рукой на окно:

Голубой

Сад ерзал костями пустыми,
Сад в ночь подымал допотопный костяк.
Вдыхая луну, от бронхита свистя.

Шепча непонятное имя...

— Содружество наше навек заодно! —

Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер...

Поручик! Он рвет каблуками траву,
Он бредит убийством и родиной,
Приклеилась к рыжему рукаву
Лягушечья лапка смородины...

Вы тени от лампы!
Вы мокрая дрожь
Деревьев под звездами робкими...
Меня разговорами не проведешь,
Портрет с папиросной коробки...

Я выключил свет — и видения прочь!
На стекла, с предательской ленью,
В гербах и султанах надвинулась ночь.
Ночь Третьего отделения...

Пять сосен тогда выступают вперед:
Пять виселиц, скрытых вначале,
И сизая плесень блестит и течет
По мокрой и мыльной мочале...

В калитку врывается ветер шальной,
Отчаянный и бесприютный, —
И ветви над крышей и надо мной
Заносятся, как шницрутены...

Крылатые ставни колотятся в дом,
Скрежещут зубами шарниров,
Как выкрик:
— Четвертая рота — кругом!
Упрятанных в ночь командиров...
И я пробегаю сквозь строй без конца
В поляны, в леса, в бездорожья...
И каждая палка хочет мяса,
...И каждая палка пляшет по коже...
В ослиную шкуру стучит кантонист
(Иль ставни хрипят в отдаленьи?!)...
А ночь за окном, как шпицрутенов свист,
Как Третье отделение,
Как сосен качанье, как флютера вой...
И вдруг поворачивается ключ световой.

Безвредною синькой покрылось окно,
Окурки под лампою шаткой.
В пустой уголок, где от печки темно,
Как лодка, вplyвает кроватька...

И я подхожу к ней, под гомон и лай
Собак, зараженных бессонницей:
— Вставай же, Всеволод, и всем владай,
Вставай под осеннее солнце!
Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен!
Прими ж завещанье:
Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!..

Победители

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И все навыворот.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щebetал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец! —

И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: Крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать
На мир облокотиться, как на стол. —
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
... Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шея лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва.
Дымится месяц посредине лужи.
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,

И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо —
Все это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! —
Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

1930

CYPRINUS CARPIO

После дождей на Зеленом озере потоп. Рыбоводная станция залита водой. Рыбовод и рабочие заболели. Мальки ценных пород в опасности.

Письмо рабкора.

РОМАНС КАРПУ

Закованный в бронзу с боков,
Он плыл в темноте колеи,
Мигая в лесах тростников
Копейками чешуи.
Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращается, как на оси.
Он плыл, огибая пруды,
Сражаясь с безумным ручьем,
Поборник проточной воды —
Он пойман и приручен.
Лягушника легкий кружок
Откинув усатой губой,
Плывет на знакомый рожок
За крошками в полдешь и зной.
Он бросил студеную глубь,

Кустарник, звезду на зыбях,
С пушистой петрушкой в зубах,
Дымясь, проплывая к столу.

ОДА

Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе.

Пруды он продвинул болотам в тыл,
Советский водяной.

Самцов он молоками налил

И самок набил икрой.

Жуки на берегах.

Туман. Жара.

На журавлей урожай.

Он пробует воду:

— Теперь пора!

Плывите и размножайтесь! —

(Ворот скрипит: стопорит ржа;

Шлюзы разъезжаются визжа.)

Тогда запеваёт во все концы

Вода, наступая упрямо,

И в свадебной злости

Плывут самцы

На стадо беременных самок...

О, ты — человек такой же, как я,

Болезненный и небритый,

Которому жить не даёт семья,

Пеленки, тарелки, плиты,

Ты сделался нынче самим собою —

Начальник столпотворенья.

Выходят самцы на бесшумный бой,
На бой за оплодотворенье.
Распахнуты жабры;
Плавник зубчат;
Обложены медью спины...
В любви молчат.
В смерти молчат.
Молча падают в тину.
Идет молчаливая игра;
Подкрадыванье и пляски.
...И звездами от взмаха пера
Взлетает и путается икра
В зеленой и клейкой ряске.

Тогда, закурив, говорит рыбовод:
— Довольно сражаться! Получен приплод!

СТАНСЫ

Он трудится, не покладая рук,
Сачком выгребая икру.

Он видит, как в студне точка растет:
Жабры, глаза и рот.

Он видит, как начинается рост,
Как возникает хвост,

Как первым движением плывет малек
На водяной цветок.

И это крупинка любви дневной,
Этот скупой осколок
В потемки кровей, в допотопный строй
Вводит тебя, ихтиолог.

Над жирными водами встал туман,
Звезда над кустом косматым —
И этот малек, как левнафан,
Плывет по морским закатам.

И первые ветры, и первый прибой,
И первые звезды над головой.

ЭПОС

До ближней деревни пятнадцать верст.
До ближней станции тридцать...
Утиные стойбища (гнилой ворс)
От комарья не укрыться.
Голодные щуки жрут мальков,
Линяет кустарник хилый,
Болотная жижа промежду швов
Вьедается в бахилы.
Ползет на пруды с кормовых болот
Душительница-тина,
В расстроенных бронхах
Бронхит поет,
В ушах завывает хина.
Рабочий в жару.
Помощник пьян.
В рыбах разводне холод.
По заболоченным полям

Рассыпалась рыба молодь.
— На помощь! —
Летит телеграфный зуд
Сквозь морок болот и тленье,
Но филином гукает УЗУ
Над ящиком заявлений.
Из черной куги,
Из прокисших вод
Луна вылезает дыбом.
... Луной открывается ночь. Плывет
Чудовищная Главрыба.
Крылатый плавник и сазаний хвост:
Шальных рыбоводов ересь.
И тысячи студенистых звезд
Ее небывалый нерест.

О, сколько ножей и сколько багров
Ей ударят под ребро!

В каких витринах, под звон и вой,
Она повиснет вниз головой?

Ее окружает зеленый лед,
Над ней огонек белесый,

Перед ней остановится рыбовод,
Пожевывая папиросу.
И в улиц бульжное бытие
Она проплывет в тумане.
Он вывел ее.
Он вскормил ее.
И отдал на растерзанье.

ВЕСНА, ВЕТЕРИНАР И Я

Над вывеской лечебницы синий пар.
Щупает корову ветеринар.

Марганцем окрашенная рука
Обхаживает вымя и репицы плеть,
Нынче корове из-под быка
Мычать и, вытягиваясь, млеть.
Расчищен лопатами брачный круг,
Венчальную песню поет скворец,
Знаки Зодиака сошли на дуг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.

(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса,
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса.)

Над вывеской лечебницы синий пар,
Умывает руки ветеринар.

Топот за воротами.

Поглядим.

И вот, выпячивая бока,

Коровы плывут, как пятнистый дым,

Пропитанный сыростью молока,
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики, на рогах.
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои:
Благославляя покой и бег,
И смерть, и мучительный вой любви.

(Апрельского мира челядь,
Ящерицы, жуки,
Они эту землю делят
На крохотные куски:
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
Я здесь! Я около! Ветеринар!

Как совесть твоя, я встал над тобой,
Как смерть, обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!
Но только не измени...
Видишь: падает в крынки парная звезда.
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зеленым,
Блестит, как вода,

Как промытый дождями
Кленовый лист.
Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!

(Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье!
Звезда стоит на пороге —
Смотри — не вспугни ее!)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Мне издали кланяется ветеринар.

Скворец распинается на шесте.
Земля — как из бани. И ветра нет.
Над мелкими птицами
В пустоте
Постукиванье булыжных планет,
И гуси летят к водяной стране;
И в город уходят служителя,
С громадными звездами наедине

Семенем истекает земля.
(Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.)

1930

СТИХИ О СЕБЕ

I. ДОМ

Хотя бы потому, что потрясен ветрами
Мой дом от половиц до потолка;
И старая сосна трет по оконной раме
Куском селедочного костяка;
И глохнет самовар, и запевают вещи.
И женщиной пропахла тишина,
И над кроватью кружится и плещет
Дымок ребяческого сна, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
В звероподобные кусты,
Где ветер осени, шурша снопом соломы.
Взрывает ржавые листы,
Где дождь пронзительный (как леденеют
щеки!),
Где гнойники на сваленных стволах,
И ронжи скрежет и отзыв далекий
Гусиных стойбищ на лугах...
И все болотное, ночное, колдовское,
Проклятое — все лезет на меня:
Кустом морошки, вкусом зверобоя,
Дымком ночлежного огня,
Мглой зыбунов, где не расслышишь шага.
...И вдруг — ладонью по лицу —

Реки расхристанная влага
И в небе лебединый цуг.
Хотя бы потому, что туловища сосен
Стоят, как прадедов ряды,
Хотя бы потому, что мне в ночах несносен
Огонь олонецкой звезды, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
(С дороги, беспризорная сосна!)
В распахнутую дверь,
В добротный запах дома,
В дымок младенческого сна...

II. ЧИТАТЕЛЬ В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Во первых строках
Моего письма
Путь открывается
Длинный, как тесьма.
Вот, строки раскидывая,
Лезет на меня
Драконоподобная
Морда коня.
Вот скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он опережает
Овечий гурт,
Его подстерегает
Кара-курт,
Его сопровождает

Шакалий плач,
И пулю посылает
Ему басмач.
Но скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он тянет из кармана
Сухой урюк,
Он курит папирсы,
Что я курю;
Как я, — он любопытен:
В траве степей
Выслеживает тропы
Зверей и змей.
Полдень придет —
Он слезет с коня,
Добрым словом
Вспомнит меня;
Сдвинет картуз
И зевнет слегка,
Книжку мою
Возьмет из мешка;
Прочтет стишок,
Оторвет листок,
Скинет пояс —
И под кусток.

Чего ж мне надо!
Мгновенье, стой!
Да здравствует гидрограф —
Читатель мой!

III. ТАК БУДЕТ

Чорт знает где
На станции ночной,
Читатель мой,
Ты встретишься со мной.
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен,
А мне казалось,
Что моложе он...
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
— А мне казалось,
Что моложе вы! —
Так, вытерев ладони о штаны.
Встречаются работники страны
У коновязи
Конь его храпит,
За сотни верст
Мой самовар кипит, —
И этот вечер,
Встреченный в пути,
Нам с глазу на глаз
Трудно провести.
Рассядемся.
Начнем табак курить.
Как невозможно
Нам заговорить.
Но вот по взгляду,
По движенью рук
Я в нем охотника
Признаю вдруг.

И я скажу:
— Уже на реках лед,
Как запоздал
Утиный перелет, —
И скажет он,
Не поднимая глаз:
— Нет времени
Охотиться сейчас. —
И замолчит.
И только смутный взор
Глухонемой продолжит разговор.
Пока за дверью
Не затрубит конь,
Пока из лампы
Не уйдет огонь,
Пока часы
Не скажут, как всегда:
— Довольно бреда,
Время для труда! —

ВСТРЕЧА

Меня еда арканом окружила;
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее...
И в этот день в Одессе на базаре
Я заблудился в горах помидоров,
Я среди арбузов не нашел дороги,
Черешки завели меня в тупик,
Меня стена творожная обстала,
Стекляя сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще — на градус выше — и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей,
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст каменья и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой
Султаном подымается ботва,
Вокруг меня, кругом, неумолимо
Навалены в корзины и телеги,
Раскиданы по грязи и мешкам.
И как вожди съедобных батальонов,
Как памятники пьянству и обжорству,

Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.
И я один среди враждебной стаи
Людей, забронированных едою,
Потеющих под солнцем Хаджи-бея
Чистейшим жиром, жарким, как смола.
И я мечусь среди животов огромных,
Среди грудей, округлых, как бочонки,
Среди зрачков, в которых отразились
Капуста, брюква, репа и морковь.
Я одинок. Одесское, густое,
Большое солнце надо мною встало.
Вгоняя в землю, в травы и телеги
Колючие отвесные лучи.
И я свищу в отчаяньи, и песня
В три россыпи и в два удара вьется
Бездомным жаворонком над толпой.
И вдруг петух, неистовый и звонкий.
Мне отвечает из-за груды пищи,
Петух — неисправимый горлопан,
Орущий в дни восстаний и сражений.
Оглядываюсь — это он, конечно,
Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ.
Он здесь, он выведет меня отсюда
К моим давно потерянным друзьям!
Он толще всех, он больше всех потеет:
Промокла полосатая рубаха,
И брюхо, выпирающее грозно,
Колышется над пыльной мостовой.
Его лицо багровое, как солнце,
Расцветчено румянами духовки,
И молодость древнейшая играет
На неумело выбритых щеках.

Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
Ты так же толст и так же беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,
Мы к погребу идем, где на дверях
Отбита надпись кистью и линейкой:
«Пивная госзавода Пищетрест».
Так мы сидим над мраморным квадратом.
Над пивом и над раками — и каждый
Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
Я говорю, я жалуясь. А Ламме
Качает головой, выламывает
Клешни у рака, чмокает губами,
Прихлебывает пиво и глядит
В окно, где проплывает по стеклу
Одесское просоленное солнце,
И ветер с моря подымает мусор
И столбики кружит по мостовой.
Все вышито, все съедено. На блюде
Лежит опустошенная броня
И кардинальская тиара рака.
И Ламме говорит: — Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд твой мрачен, и язык остер.
Ты ищешь нас, — а мы везде и всюду,
Нас множество, мы бродим по лесам,
Мы направляем лошадь селянина,
Мы раздуваем в кузницах горнило,
Мы с школярами заодно зубрим.

Нас много, мы раскиданы повсюду,
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?
Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле.

И вдруг за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею — и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас
Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.

.
Я Тилья Уленшпигеля пою!

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

(Автобус)

В тучу, в гулкие потемки,
Губы выкатил рожок,
С губ свисает на тесемке
Звука сдавленный кружок.
Оборвется пропыленный —
И покатится дрожа
На Поклонную, с Поклонной,
Выше. Выше. На Можайск.
Выше. Круглый и неловкий
Он стремится наугад,
У случайной остановки
Покачнется — и назад.
Через лужи, через озимь,
Прорезиненный, живой,
Обрастающий навозом,
Бабочками и травой —
Он летит, грозы предтеча
В деревенском блеске бус,
Он кусты и звезды мечет
В одичалый автобус;
Он хрипит неудержимо
(Захлебнулся сгоряча!).
Он обдаст гремучим дымом

Вороненого грача.
Молния ударит мимо
Переплетом калача.
Матершинничает всеу,
Ввинчивает в пыль кусты.
Я за приступ голосую!
Я за взятие! А ты?
И выносит нас кривая,
Раскачнувшись широко!
Над шофером шаровая
Молния, как яблоко.

Все открыто и промыто,
Камни в звездах и росе,
Извиваясь в тучи влило
Дыбом вставшее шоссе.
Над последним косогором
Никого.

Лишь он один —
Тот аквариум, в котором
Люди, воздух и бензин.
И взывая, как оратор,
В сорок лошадиных сил,
Входит равным радиатор
В сочетание светил.
За стеклом орбиты, хорды,
И, пригнувшись, сед и сер,
Кривобокий, косомордый,
Давит молнию шофер.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОЭТА

Весенний ветер лезет вон из кожи,
Калиткой шелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок,
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «папиросный коробок»).

А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюда, — в сторону мизинец, —
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля,
И самовар на скатерти бумажной
Протодиакonom трубит протяжно.
Сосед откушал, обругал жену
И благодует:

— Ах! Погода!

Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну! —
Через дорогу, в хвойном окруженьи
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова,
Благословляю кляксами бумагу.
Сырые сосны отряхают влагу,
И в хвое просыпается сова.

Сопит река.

Земля раздражена.

(Смотри стихотворение «Весна».)

Слова, как ящерица, — не наступишь;

Размеры — выгоднее воду в ступе

Толочь, а композиция встает

Шестиугольником или квадратом;

И каждый образ кажется проклятым.

И каждый звук топырится вперед.

И с этой бандой символов и знаков

Я, как биндюжник, выхожу на драку

(Я к зуботычинам привык давно).

А критик мой недавно чай откушал.

Статью закончил, радио прослушал

И на террасу распахнул окно.

Меня он видит — он доволен миром —

И тенорком, политым легким жиром,

Пугает галок на кусте сыром.

Он возглашает:

— Прорычите басом,

Чем кончилась волынка с Опанасом,

С бандитом, украинским босяком.

Ваш взгляд от несварения неистов.

Прошу, скажите за контрабандистов,

Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб
гром,

Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы
дыма, —

Ах, для здоровья мне необходимы

Романтика, слабительное, бром!

Но в этом ли удача из удач?

Я говорю как критик и как врач.

Но время движется. И на дороге

Гниют доисторические дроги,
Бульжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылезит, —
И вот ползет по укрощенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:

— Эт-то проза!)

Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.
— Как мне работать!
Голова в тумане.

И бытием прижатое сознание
Упорствует и выжимает крик.
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбководы.
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас няньчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки, —
Начало будущего оперенья.

— Ау, сосед! —

Он стонет и ворчит:

— Невыносимо плимутрок кричит,
Невыносимо дребезжат трамваи!
Да, вы лияете, милейший мой!
Вы погибаете, милейший мой!

Да, вы в тупик уперлись головой,
И, как вам выбраться, не понимаю. —
Молчи, папаша! Пестрое перо
Топорщится, как новая рубаха.
Петуший гребень дыбится остро;
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! — и на забор с размаха.
О, злобное петушьё бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.

ТВС

Пыль по поздрям — лошади ржут.
Акации сыплюгся на дрова.
Треплется по ветру рыжий джут.
Солнце стоит посреди двора.
Рычаньем и чадом воздух прорыв,
Приходит обеденный перерыв.

Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо от сердца, из глубины
Предчувствие кашля идет ко мне.

И сызнава мир колюч и наг —
Камни — углы и дома — углы;
Трава до оскомины зелена;
Дороги до скрежета белы.
Надсаживаясь и спеша до-нельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельсий.

(Значит: в гортани просохла слизь,
Воздух, прожарясь, стекает вниз,
А снизу, цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.)

Земля надрывается от жары.
Термометр взорван. И на меня

Грохоча осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту.
И вся дорога бежит, как ртуть.
А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).
Дома же сонно и полутемно:
О, скромная заповедь молока!

Под окнами тот же скопческий вид.
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращения мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие — все полно,
Которому голосом сковород
Напоминать о себе дано,
Напоминать: «Подремли, пока
Правильно в мире. Усни, сынок».

Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится о висок.

(Значит: упорней бронхи сосут
Воздух по капле в каждый сосуд;
Значит: на ткани полезла ржа;
Значит: озноб, духота, жар.)
Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка,
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!
— Войдите. — И он идет сюда:

Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.
(Прямо с простенка не он ли, не он,
Выплыл из воспаленных знамен?
Выпятив бороду, щурясь слегка
Едким глазом из-под козырька.)
Я говорю ему: — Вы ко мне,
Феликс Эдмундович? Я нездоров.

...Солнце спускается по стене.
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.

— Нет, я попросту — потолковать. —
И опускается на кровать.

Как бы продолжая давнишний спор,
Он говорит: — Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку подстать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опушенной на плечо руки.

Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки,
И стол мой раскидывался, как страва.
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клочок. —
Все друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же ступ
Садилась и рушилась в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя
Умри, побеждая, как умер я. —

Смолкает. Жилка о висок
Глуше и осторожней бьет.

(Значит: из пор, как студеной сок.
Медленный проступает пот.)

И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как
стынь.
Луна лейкоцитом над кругом двора.

Звезды круглы, и круглы кусты.
Скатываются девять часов
В огромную бочку возле окна.
Я выхожу. За спиной засов
Защелкивается. И тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.
И я ухожу (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка.

ВЕСЕЛЫЕ НИЩИЕ

(Р. Бёрнс)

Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, и норд-ост
Свистит и стонет меж стволами,
Траву задела седина,
Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами.
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают.
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,

И что ему холодом пахнувший мир.
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.
И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста.
Смыкаются и размыкаются громко.
Прыщавые лбы освещает очаг.
Меж тем под столом отдыхает котомка —
Знак ордена Нищих,
Знак братства Бродяг.
И кружку подняв над собою,
Как знамя, готовое к бою,
Солодом жарким объят,
Так запекает солдат:

— Ах! Я Марсом порожден, в перестрелках
окрещен,
Поцарапано лицо, шрам над верхнею губою.
Оцарапан — страсти знак! — этот шрам
врубил тесак
В час, как бил я в барабан перед
французскою толпою.
В первый раз услышал я заклинание ружья,
Где упал наш генерал в тень Абрамского
кургана,
А когда военный рог пел о гибели Моро,
Служба кончилась моя под раскаты барабана.
Куртис вел меня с собой к батареям над
водой,
Где рука и где нога? Только смерч огня
и пыли.

Но безрукого вперед в бой уводит Эллот;
Я пошел, а впереди барабаны битву били...
Пусть погибла жизнь моя, пусть костыль
взамен ружья,
Ветер гнезда свил свои, ветер дует по
карманам,
Но любовь верна всегда — путеводная звезда,
Будто снова я спешу за веселым барабаном.
Рви, метель, и, ветер, бей. Волос мой
снегов белей.
Разворачивайся, путь! Вой, утроба океана!
Я доволен — я хлебнул! Пусть выводит
Вельзевул
На меня полки чертей под раскаты
барабана! —

Охрип или слов не достало,
И сызнава топот и гам,
И крысы, покрытые салом,
Скрываются по тайникам.
И та, что сидела с солдатом,
Над сборищем встала проклятым.
— Епсоге! — восклицает скрипач.
Косматый вздымается волос;
Скажи мне: то женский ли голос.
Шипение пива, иль плач?

— И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда;
Я дочь молодого драгуна,
И этим родством я горда.
Трубили горнисты беспечно,
И лошади строились в ряд,

И мне полюбился, конечно,
С барсучьим султаном солдат.
И первым любовным туманом
Меня он покрыл, как плащом.
Недаром он шел с барабаном
Пред целым драгунским полком;
Мундир полыхает пожаром,
Усы палашами торчат...
Недаром, недаром, недаром
Тебя я любила, солдат.
Но прежнего счастья не жалко,
Не стоит о нем вспоминать,
И мне барабанную палку
На рясу пришлось променять.
Я телом рискнула, — а душу
Священник пустил напрокат.
Ну, что же! Я клятву нарушу,
Тебе изменю я, солдат!
Что может, что может быть хуже
Слюнявого рта старика!
Мой норов с военщиной дружен, —
Я стала женою полка!
Мне все равно: юный иль старый.
Командует, трубит ли в лад,
Играла бы сбруя пожаром,
Кивал бы султаном солдат.
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела.
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала.
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,

Безрукий и рыжий солдат.
Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Пока еще глотка глотает,
Пока еще зубы скрипят,
Мой голос тебя прославляет,
С барсучьим султаном солдат! —

И снова женщина встает,
Знакомы ей туман и лед,
В горах случайные дороги,
Косуля, тетерев и лис,
Игла сосны и дуба лист,
Разбойничий двупалый свист,
Непроходимые берлоги.
Ее приятель горцем был,
Он пиво пил, он в рог трубил,
Норд-ост трепал его отрепья,
Он чуял ветер неудач,
Но вот его пеньковой цепью
Почетно обвязал палач.
И нынче пьяная подруга
Над пивом вспоминает друга:

— Под елью Шотландии горец рожден.
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
В тартановом пледе, расшитом пестро,
На шапке болотного гуся перо,
Рука на кинжале, и взведен курок,

Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Мы шли по дороге от Твида до Спей,
Под выдох волынки, под пляску ветвей,
Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Его осудили — и выгнали вон,
Но вереск цветет — появляется он;
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Погоня! Погоня! Исполнился день —
Захвачен Шотландии вольный олень.
Палач. И веревка намылена в срок.
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Прощайте, веселые реки мои,
Волынка, попутчица нашей любви.

За ветер, за песни последний глоток!
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!

Х о р

Надо выпить за Джона!
Надо выпить за Джона!
Нет на земле шотландца
Доблестней горца Джона!

Перед шотландскою красоткой
Огромной, рыжей, как кумач,
Стоит влюбившийся скрипач,
Разбитый временем и водкой.
Не достигая до плеча,
Он ей бормочет сгоряча:

— Я джентельмен, и должен я, мой друг,
утешить тебя.

Ты можешь очень весело жить, лишь
скрипача любя,
Я в жертву тебе принести готов и музыку
и себя.

На остальное плевать!
По свадьбам начнем мы ходить с тобой —
что может быть веселей?
О, пляски на фермерском дворе среди
золотых полей,
Когда скрипач кричит жениху: — Жених!
наливай полней! —

На остальное плевать.
И солнце покажется нам тогда, как донце
кружки пивной,
И ветер подушкой будет нам,
покрывалом — июльский зной,
Любовь и музыка по бокам, котомка —
за спиной!

На остальное плевать!
Довольно! И скрипку пунцовым платком
С веселою нежностью кутает гном;
Глаза подымает — и видит старик
Огромной возлюбленной пламенный лик...
Но к чорту ломаются стулья и стол,
Кузнец подымается, груб и тяжел,
Моргая глазами, сопя и ворча,
Он в зубы, по правилам, бьет скрипача.
Огромен кузнец. Огневой, кровяной,
Шибает в лицо ему выпивки зной;
Свои бакенбарды из шерсти овечьей
Кладет он шотландке на жирные плечи.
Любви музыканта приходит конец:
Как два монумента — она и кузнец.

Он щиплет ее, запевая спьяна,
И в лад его песне икает она.

— Из Лондона в Глазго стучат мои шаги,
Паяльник мой шипит, и молоток стрекочет,
Распорот мой жилет, и в дырках сапоги,
Но коль кузнец влюблен, — он пляшет
и хохочет...

В солдаты я иду, когда работы нет:
Бесплатная жратва и пиво даровое.
Но деньги получив, я заметаю след,
Паяльник мой в руках, жаровня за спиною.

Х о р

— О, что тебе скрипач, — он жертва
неудач!

Сыграет и споет — и песня позабыта.
Твой новый господин — железа властелин:
Он подкует любви веселые копыта!
Пускай горят сердца во славу кузнеца!
Назавтра снова путь, работа спозаранку.
Гремят среди лугов две пары каблуков;
Друг под руку ведет веселую шотландку.

Скрипач не зевает. Долой кузнеца!
Жена хороша у бродяги-певца,
Подобно коту, подошедшему к пище,
Скрипач осторожно мурлычет и свищет,
Нечаянно ногу коленкой прижмет,
Нечаянно плечи рукой обоймет,
Покуда кузнец неуклюже, без правил,
Его не побил и под стол не отправил,
Совсем неудачная ночь!

Как дрозд веселится бродяга-певец.
Дорогам и песням не скоро конец.
Он дышит румянцем, зубами блестит,
Деревьям смеется и птицам свистит.
Для брэнного ж тела он должен иметь
Литровую кружку и добрую снедь.
И в ночь запекает певец:

Веселого певца
Не услышать вельможам,
Недаром я пою
В лесах, по бездорожьям...
Уродлив посох мой,
Кафтан мой в прахе сером,
Но пчел веселый рой,
Крутятся, летит за мной,
Как прежде за Гомером.

Увы, Кастальский ключ
Не вычерпать стаканом.
От греческой воды
Не быть вовеки пьяным.
В передвечерний час,
Меня приносят ноги
К тебе в приют нестрогий,
Мой нищенский Парнас,
Открытый при дороге.

Дыхание любви
Нежней, чем ветер с юга.
Зови меня, зови,
Бездомная подруга.
Цветет ночная высь,

Травую пруд волнуем,
Чтоб мы, внимая струям,
Сошлись и разошлись
С веселым поцелуем.

Встречайте ж день за днем
Свободой и вином...

Над языками фитилей
Кружится сажа жирным пухом,
И нищие единым духом
Вопят: — Давай! Прими! Налей!
И черной жаждою полно
Их сердце. Едкое вино
Не утоляет их, а дразнит.
Ах, скоро ли настанет праздник,
И воздух горечью сухой
Их напоит. И с головой
Они нырнут в траву поляны,
В цветочный мир, в пчелиный гуд.
Где, на кирку склоняясь, Труд
Стоит в рубахе полотняной
И отирает лоб. Но вот
Столкнулись кружки, и фагот
Заверещал. И черной жаждой
Пылает и томится каждый.
И в исступленном свете свеч
Они тряпье срывают с плеч;
Густая сажа жирным пухом
Плывет над пьяною толпой...
И нищие единым духом
Орут: — Еще, приятель, пой! —
И в крик и в запах дрожжевой

Певец бросает голос свой:
— Плещет жижей пивною
В щеки вышивки зной!
Начинайте за мною,
Запевайте за мной!
Королевским законам
Нам голов не свернуть.
По равнинам зеленым
Залегает наш путь.
Мы проходим в безлюдьи
С крепкой палкой в руках
Мимо чопорных судей
В завитых париках;
Мимо пасторов чинных,
Наводящих тоску!
Мимо... Мимо...
В равнинах
Воронье на-чеку.
Мы довольны. Вельможе
Не придется заснуть,
Если в ночь, в бездорожье
Залегает наш путь.
И ханже не придется
Похвалиться собой,
Если ночь раздаётся
Перед нашей клюкой...
Встанет полдень суровый
Над раздольями тьмы,
Горечь пива иного
Уж попробуем мы!..
Братья! Звезды погасли,
Что им в небе торчать!
Надо в теплые ясли

Завалиться — и спать.
Но и пьяным и сонным
Затверди, не забудь:
— Королевским законам
Нам голов не свернуть!

1928

Последняя ночь

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Весна еще в намеке
Холодных звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.

Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.

Эрдгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился как сфинкс.

Реvolver, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.

Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески-твердый кулак
В коричневых волосках.

.

В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси
Подобное колесу.

Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.

И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расширяясь вдрызг
О стекла и провода.

Весна их гнала из-за черных скал
Бичами морских ветров.

Я вышел...
За мной затворилась дверь...
И ночь, окружив меня
Движеньем крыльев, цветов и звезд.
Возникла на всех углах.

Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый хrap
Биндюжников, спавших на биндюгах
И в окнах была видна

Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.

Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянию рельс.

На трамвайной станции млея фонарь.
Окруженный большой весной.

Мне было только семнадцать лет.
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной.
Шагала плечом к плечу.

Я был ее зеркалом, двойником.
Вторую вселенной был,
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.

Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад — к морским волнам.

И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
— «Вот первые журавли».

Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.

Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во все —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг
Недвижного, как валун.

Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, —
В гимназической шапке с большим
гербом,
В тужурке, сшитой на рост.

Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.

Лоб, придавивший собой глаза.
Был не по-детски груб,

И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.

Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.

Вот тут я понял:
Погибнет ночь
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.

И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.

Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.

Меж тем подымается рассвет,
И вот на кривой сосне
Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.

А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач...

Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью илел фонарь,
Непогашенный поутру.

Итак, все кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута вдаль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!

Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:

— «В грозную эту ночь

Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда
Больше таких ночей...
Это последняя... Вот и все!
Прощайте!»
И он ушел.

Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.

Револьвер вынут из кобуры.
Школяр обойму вложил.

Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен», — кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день,
В портянках, потных до черноты.
Мы падали на матрац.
Дремота, и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря,
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.

Не досыпая, не долюбя,
Молодость наша шла.
Я спутника своего искал:
Быть может он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить.

И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился... Военный френч,
Как панцырь, сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;
И лоб, на который пал

Недавно предсмертный огонь планет.
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.
О, где же твой блеск, последняя ночь.
И свист твоего дрозда!

Лужайка — да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки. Бродячий пес
Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потопан хлеб.
И вечером — прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой,
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.
Над Пруссией вихрь.
И над Россией туман.

Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.

Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,
Проросшую из сердец;

Да изредка выгрებაет плуг
Пуговицу с орлом...
Но мы — мы живы наверняка!

Осыпаясь, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.

И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, — оно теперь
Подвластно нашей руке.

Мы навек воинов приобрели;
Терпенье и меткость глаз;
Уменье хитрить, уменье молчать:
Уменье смотреть в глаза.

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде,
И наши товарищи, поплевав
На руки, стащут нас
В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов,
Пусть юноша (вузовец, иль порт,
Иль слесарь — мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.

ЧЕЛОВЕК ПРЕДМЕСТЬЯ

Вот зелена прозябли.
Продуты ветром дни.
Мой подмосковный зяблик,
Начни, начни. . .

Бревенчатый дом под зеленой крышей,
Флюгарка визжит, и шумят кусты,
Стоит человек у цветущих вишен:
Герой моей повести — это ты!

.

Вкруг мира, поросшего нелюдимой
Крапивой, разрозненный мчался быт,
Славянский шкаф и труба без дыма,
Пустая кровать и дым без трубы.

На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг.
А он переминался угловатый,
С большими сизыми кистями рук.

Вот так бы нацелиться — и с налета
Прихлопнуть рукой, коленом прижать. . .
До скрежета, до ледяного пота,
Стараться схватить, обломать, сдержать!

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй, к себе таща,
В закут овечий,
В дом человеческий,
В капустную благодать борща.

И глядя на мир из дверей амбара,
Из пахнувших крысами недр его,
Не отдавай ни сора, ни пара,
Ни камня, ни дерева — ничего!

Что ж, служба на выручку!
Полустанки. . .
Пернатый фонарь, да гудки в ночи. . .
Как рыжих младенцев, несут крестьянки
Прижатые к сердцу калачи.

Гремя инструментом, проходит смена.
И там, в коморке проводника,
Дым коромыслом. Попойка. Мена.
На лавках рассыпанная мука.

А все для того, чтобы в предместье
Углами укладывались столбы,
Чтоб шкаф, покругившись, застрял
на месте,
Чтоб дым, завертясь, пошел из трубы.

(Но все же из будки не слышно лая,
Скворешник пустует, как новый дом.
И пухлые голуби не гуляют
Восьмеркою на чердаке пустом.)

И, вот в улетающий запах пота,
В смолкающий плотничий разговор,
Как выдох, распахиваются ворота,
И женщина вливается во двор.

Пред нею покорно мычат коровы.
Не топоча, не играя зря,
И — руки в бока — откинув ковровый
Платок, она стоит, как зря.

Она расставляет отряды крынок:
Туда — в больницу. Сюда — на рынок,
И, вытянув шею, слышит она
(Тише, деревья, пропустишь сдуру)
Вьющийся с фабрики Ногина
Свист выдаваемой мануфактуры.

Вот ее мир — дрожжевой, густой.
Спит и сопит, молоком насытаться,
Жидкий навоз, над навозом ситец,
Пушенный в бабочку с запятой.
А посередке, крылом звеня,
Кочет вопит над наседкой вялой.

Чорт его знает, зачем меня
В эту обитель нужда загнала!..
Здесь от подушек не продохнуть,
Легкие так и трещат от боли...
Крикнуть товарищей? Иль заснуть?
Иль возвратиться к герою, что ли?

Ветер навстречу. Скрипит вагон.
Черная хвоя летит в угон.

Весь этот мир, возникший из дыма,
В беге откинувшийся, трубя,
Навзничь, он весь пролетает мимо,
Мимо тебя, мимо тебя!

Он облетает свистящим кругом
Новый забор твой и теплый угол.

Как тебе тошно. Опять фонарь
Млеет на станции. Снова, снова,
Баба с корзинкой. Степная гарь
Да заблудившаяся корова.

Мир переполнен твоей тоской;
Буксы выстукивают: на кой?

На кой тебе это?
Ты можешь смело
Посредине двора, в июльский зной,
Раскинуть стол под скатертью белой
Средь мира, построенного тобой.

У тебя на столе самовар, как глобус,
Под краном стакан над канфоркой дым.
Размякнув от пара, ты можешь в оба
Теперь следить за хозяйством своим.

О, благодущие! Ты растроган
Пляской телят, воркованьем шей,
Журчаньем в желудке...
А за порогом —
Страна враждебных тебе вещей.

На фабрику движутся, раздирая
Грунт, дюжие лошади (топот, гром).

Не лучше ль стоять им в твоём сарае
В порядке. Как следует. Под замком.

Чтобы дышали добротной скукой
Хозяйство твое и твоя семья,
Чтоб каждая мелочь была порукой
Тебе в неподвижности бытия.

Жара. Не читается и не спится.
Предместье солнцем оглушено.
Зеваю. Закладываю страницу.
И настезь распахиваю окно.

Над миром, надтреснутым от нагрева,
Ни ветра, ни голоса петухов...
Как я одинок. Отзовитесь, где вы,
Веселые люди моих стихов?

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.

Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь! Мы пируем в твоём доме! —

Вперед же, солдатская песня пира!
Открылся поход.

За стеной враги.
А мы постарели. — И пылью мира
Покрылись походные сапоги.

Но все ж, по-охотничьи, каждый зорек,
Ясна поседевшая голова.
И песня просторна.
И ветер дорог.
И дружба вступает в свои права.

Мы будем сидеть за столом веселым
И толковать и шуметь, пока
Не влезет солнце за частоколом
В ушат тошленого молока.
Пока не просвищут стрижи. Пока
Не продерет росяным рассолом
Траву — до последнего стебелька.
И палец поднявши, один из нас
Раздумчиво скажет: «Какая тьма!
Как время идет! Уже скоро час!»
И словно в ответ ему ночь сама
От всей черноты своей грянет: Раз! —

А время идет по навозной жиже.
Сквозь бурю листвы не видать ни зги.
Уже на крыльце оно. Ближе. Ближе.
Оно в сенах вытирает сапоги.

И в блеск половиц, в промытую содой
И щелоком горницу, в плеск мытья,
Оно врывается непогодой,
Такое ж сутуловатое, как я,

Такое ж, как я, презревшее отдых,
И, вдохновеньем потрясено,
Глаза, промытые в сорока водах,
Медленно поднимает оно.

От глаз его не найти спасенья,
Не отмахнуться никак сплеча,
Лампу погасишь. Рванешься в сени.
Дверь на запоре. И нет ключа.

Как ни ломись — не проломишь — баста!
В горницу? В горницу не войти!
Там дочь твоя, стриженная, в угластом
Пионерском галстукe, на пути.

И руками комкая одеяло,
Еще сновиденьем оглушена,
Вперед ногами, мало-помалу,
Сползает на пол твоя жена!

Ты грянешь в стекла. И голубое
Небо рассыпется на куски.
Из окна в окно, закрутись трубою,
Рванутся дикие сквозняки.

Твой лоб сиянием окровавит
Востока студеная полоса,
И ты услышишь, как время славят
Наши солдатские голоса.

И дочь твоя подымает голос
Выше берез, выше туч, — туда.

Где дрогнул сумрак и раскололась
Последняя утренняя звезда.

И первый зяблик порвет затишье...
(Предвестник утренней чистоты.)
А ты задыхаешься, что ты слышишь?
Испуганный, что рыдаешь ты?

Бревенчатый дом под зеленой крышей,
Флюгарка визжит, и шумят кусты.

1932

СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашенная дверь.
Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженных волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный.
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?

Почему теснится
В подъязычьи стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

— Валенька, Валюша!
Тягостно в избе!
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты;
Свинья без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький
Твой крестильный крест. —

На щеке помятой
Длинная слеза...
А в больничных окнах
Двигается гроза.

Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Двигается отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сияньи
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер,
Двигутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,

Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить.
Валентине больше
Не придется жить.

— Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья?
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла.
Чтоб было приданое
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый маленький
Твой крестильный крест. —

Пусть звучат постылые
Скудные слова —
Не погибла молодость —
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь: на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Воскликает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

— Я всегда готова! —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука —
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И прижав к постели,
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и все!

**Но песня
Не согласна ждать.**

**Возникает песня
В болтовне ребят.**

**Подымает песню
На голос отряд.**

**И выходит песня
С топотом шагов**

**В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.**

1932

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(Либретто оперы)

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Девятнадцатый год. Перрон города Балты. На перроне походная кухня. Кашевар раздает еду красноармейцам. У станционного здания торговли и торговцы.

Хор торговцев

Бублики горячие! Бублики горячие!
Бублики горячие! Пирожки!
Ай, кому котлеты! Сахарные дыни!
Вишни, яблоки! Рожки!

Кашевар

Не торопись, не шуми, ребята.
Хватит на всех, шамовки богато!

Первый красноармеец
Сверху вода, жирок да грязца,
Мне бы со дна, мне бы мяса.

Второй красноармеец
Капусты подбавь!

Третий красноармеец

Не пихайся, рыжий!

Четвертый красноармеец

А мне, братишка, налей пожиже.

Кашевар

В затылок вставай! Не толкайся зря!

Братва, держи котелки наготове!

Появляется красноармеец с письмами.

Красноармейцы

Почтарь пришел! Пустить почтаря!

А ну, подавай, что ты приготовил!

Почтальон

Которые дома невест имеют,

Теперь, конечно, не пожалеют.

Хватай, Байда, получай, Кривцов,

А вот и Мовшовичу налицо.

Тебе, Опанас, из деревни. Вот

Такой толщины, ажно сумку рвет.

Красноармейцы, присев на перрон,
читают письма.

Опанас

Горе горькое! Конями

Все потоптано кругом.

Мой отец порубан насмерть

Гайдамаком-казаком:

Что ж - ты делаешь, невеста,

Одинокая моя?

Гей, вскочу я, полечу я
Да в родимые края.
Позову волов рогатых:
Подымайтесь, цоб-цобе!
Погрущу у старои хаты
Об отце и о себе.
Пусть война, а мне бы только
Садик свой да свой домок.
Тихо вишни поспевают,
Зацветают травы в срок.

Первый красноармеец
Загрустил!

Второй красноармеец
Чудак — детина!
Хлопнул рюмку — горя нет.

Третий красноармеец
Видно, вспомнил, как у тына
Год назад встречал рассвет.

О п а н а с

Дома — кровь и смерть повсюду,
Не посеян хлеб. Теска.
Хлопцы, дунем-ка отсюда,
Не порубаны пока!

К р а с н о а р м е й ц ы
Вот герой, коль взял винтовку,
Так дерись, а не беги...
...Хорошо, ты северянин,
А у нас кругом враги...
..В Красной армии, ребята,

Надо биться до конца...
...У него ж разбита хата,
Хлеб потоптан. Нет отца...

О п а н а с

Где ты, садик мой вишневый,
Где волик рогатый,
Где подсолнух мой высокий,
Расцветший у хаты?
Павла, горькая невеста,
Рыдай неустанно:
Заросла моя дорога
Кустами бурьяна.

К р а с н о а р м е й ц ы

Ну, довольно, хватит, хлопец.
Мы ж нынче воюем.
...Я б такого продармейца
Под спину да к бую.
...Все-таки отец порубан —
Не пес придорожный.
...Замолчи! Нашел в отряде
Товарища тоже...
...Я б его за эти речи
К стенке да на мушку...
...Зря, парнишка, поднимаешь
Теперь заворушку...

Из станционного здания выходит комиссар
отряда Коган, молодой еврей, в студенческой
фуражке, с большим маузером через плечо.

К о г а н

Тише, товарищи, что за свара:
Драка? Попойка? Скандал? Пожар?

К р а с н о а р м е й ц ы
Хлопцы! Давай сюда комиссара!
Он разберется! Где комиссар?

К о г а н
Вы пообедать мне не даете:
Только за ложку — и слышу крик!

К р а с н о а р м е й ц ы
У нас началась заворуха в роте.
Панько, не отвиливай, говори!

О п а н а с
Похилился мой подсолнух,
Раскидана хата,
Над деревнею гуляет
Пожар языкатый.
И стоит моя невеста
На скорбной дороге,
Вьется колос одинокий
О смуглые ноги.
И лежит отец мой в яме,
Забыт сыновьями;
Только ветер над могилой
Да ворон постылый.
Чернозем потек болотом
От крови и пота,
Не хочу махать винтовкой —
Хочу на работу.

К о г а н
Вот получите — народная песня!
Ты же не дома, ты ж на войне.

Хочешь — не хочешь, хоть рвись, хоть
тресни,
Должен служить, подчиняясь мне.
Ты ж для себя, для себя, понятно,
Кровь проливаешь! Пойми, чудак!
Мир этот твой — не иди ж обратно...
Твой это лес. Это твой овраг.
Каждой кровинкой и каплей пота
Ты заработал это добро.
Коль отнимают — тогда в два счета,
В полоборота — и штык в ребро!

К р а с н о а р м е й ц ы
Правильно, товарищ комиссар.
Правильно, товарищ комиссар.

О п а н а с
Отпусти меня работать, —
Я в деревню побегу.

К о г а н
Если ты уйдешь отсюда —
Это на-руку врагу.

О п а н а с
Я домой хочу!

К о г а н
Товарищ,
Не волнуйся, не кричи.

О п а н а с
Я домой хочу! Потоптан
Хлеб! Раскиданы бахчи!

К о г а н

Я тебя своею волей
Не могу пустить домой.

О п а н а с

Ой! Не лучше ли прикладом
Разговаривать с тобой.

Замахивается на Когана прикладом.

К о г а н

Ты посмел перед стрядом
Замахнуться кулаком.
По-бандитски комиссару
Начал угрожать штыком.
Все равно, спяна иль сдуру,
Но за драку разочтись.

(Обращаясь к красноармейцам.)

Отвести в комендатуру
И по хатам разойтись.

Уходит в станционное здание. Красноармейцы
расходятся, крме двух, подошедших
к Опанасу.

Первый красноармеец
Скоро двенадцать! Время не ждет!

Второй красноармеец
Ну-ка, братишка, ступай вперед.

О п а н а с

Не опоздаем, друзья, ей-богу,
Мне бы подсолнухов на дорогу.

Дай-ка покурим. Пойдем потом.
Времени много. Не пропадем.

Покупают подсолнухи и усаживаются
на перрон.

Первый красноармеец
(вытаскивает газету.)

Как ни читай, а везде одно —
Сгинул Махно. Вылез Махно.

Второй красноармеец
Бьют его, гада, и в хвост и в гриву,
Как удается ему быть живу?

Первый красноармеец
Чорт его знает, скользнет гадюка —
Вот наступил. Он мелькнет — и нет.

Второй красноармеец
Средь кулаков у него порука:
Он, понимаешь, их вождь вполне.

О п а н а с

Надо бежать. Без оглядки. К бесу.
Бросить отряд. Я хочу домой.
Если бы поезд. Сначала к лесу,
После полями, а там тропой.
Если бы поезд! Если бы поезд!
Он бы подвез меня! Выручай!

Первый красноармеец
Слушай, парнишка, поправь-ка пояс,
Шапку надвинь и вперед ступай.

Слышен свист приближающегося паровоза. На перрон выходит дежурный по станции с жезлом. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее проходит эшелон, груженный красноармейцами. На сетке паровоза матросы в синих голландках, рыжие и румяные, как огромные куклы. На боку паровоза надпись: «Даешь Деникина». Из распахнутых теплушек торчат пулеметы. Над ними красноармейские лица.

Песня

Как с востока дунул ветер
Буревой,
Закружилось все на свете,
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день! Земля в пожаре!
Подымайся, пролетарий!
Здравствуй, чайник мой жестяной,
Вновь пришла твоя пора,
На привале бездорожном
Нагревайся у костра.
Здравствуй, старая винтовка,
Здравствуй, мой германский штык,
Ночевать в соседстве с вами
Я, как следует, привык.
В край, морозом обожженный,
В дебри мерзнущей страны.
Мчатся наши эшелоны,
Как предвестники весны.
Мы на битву мировую
Подымаемся не зря:
Рыбаки из-под Одессы,
От Наваля слесаря!

Это мы — восточный ветер
Буревой,
Это наш над миром голос
Боевой.
Близок час! Земля в пожаре!
Подымайся, пролетарий!

Проходит последний вагон с одиноким кондуктором. Опанас отталкивает часовых и вскакивает на подножку.

О п а н а с

Я расплевался теперь с тюрьмой,
Кому на фронт, а кому домой.

Поезд исчезает.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Украинская хата. На беленых стенах рушники и паласы. В углу большая кровать со взбитыми подушками. В хате чувствуется какая-то неправильность: на глиняном полу валяются седла, в одном из углов — винтовка, казацкая сабля лежит на столе. Павла, невеста Опанаса, шьет. Молодой человек в преувеличенных галифе шагает по комнате. На печке храпит черная человеческая туша. Молодой человек, адъютант Махно, подсаживается к Павле.

А д ъ ю т а н т

Как! Вы даже Пушкина не читали?
Какая отсталость, скандал какой!

П а в л а

А вы бы, хлопец, мне не мешали,
Под носом усы, а такой дурной!

А д ъ ю т а н т

Прошу покорно, без оскорблений!
Я страшен в гневе,
Я лют, как зверь!

(Пытается обнять ее.)

П а в л а

Без рук! Я теряю уже терпенье!
Ей богу, я выставлю вас за дверь.

Обиженный адъютант подходит к окну.
Павла шьет, напевая.

П е с н я П а в л ы

С Карпат на Украину
Пришел солдат небритый,
Его шинель в лохмотьях,
И сапоги разбиты.
Пропахший мглой ночлегов
И горечью махорки,
С георгиевской медалью
На рваной гимнастерке,
Он встал перед простором
На брошенном погосте.
Четыре ветра кличут
К себе солдата в гости.

Взывает первый ветер:
«В моем краю хоромы,
Еда в стеклянных бочках,
В больших машинах громы,
Горит вино в стаканах,
Клубится пар над блюдом...

**Иди! Ты будешь главным
Над подневольным людом!»**

**Второй взывает ветер:
«В моем краю широком
Взлетели кверху сабли,
Рванулась кровь потоком,
Там рубят и гуляют,
Ночуют под курганом...
Иди ко мне — ты будешь
Свободным атаманом!»**

**Взывает третий ветер:
«Мой тихий край спокоен,
Моя пшеница зреет,
Мой тучный скот удоен.
Когда закроешь веки,
Жена пойдет за гробом...
Иди ко мне — ты будешь
Достойным хлеборобом».**

**Кричит четвертый ветер:
«В моем краю пустынном
Одни лишь пули свищут
Над брошенным овином.
Копытом хлеб потоптан,
Нет крова, и нет пищи...
Иди ко мне — здесь братья
Освобождают нищих».**

**Кружат четыре ветра.
Трубят. Листву взметают.**

Стоит солдат и толком,
Куда пойти, не знает.

Дверь распахивается, на пороге Опанас.

П а в л а

Опанас? Когда? Откуда?

О п а н а с

Из Балты, конечно!

П а в л а

Отпускной? Иль бросил службу?

О п а н а с

Что ж, служба не вечна.
Я мечтал о том, как встану
На тихом пороге,
Как стряхну шинель на лавку,
Как вымою ноги!

П а в л а

(тихо)

Коль пришел, на себя и сетуй,
Нынче здесь на селе Махно.
Адъютант его, видишь, этот
Человек, что глядит в окно.
У меня помещенье штаба.
Спит начальник под потолком.
Я, конечно, тебя могла бы
Из села проводить тайком,
Да боюсь, что тебя узнают,
Продармеец ты как-никак.

О п а н а с

(громко)

**Я теперь хлебороб! Хозяин!
Я не воин теперь! Не враг!**

Разбуженный его голосом, просыпается человек, спавший на печке — начальник махновского штаба. Он фыркает и свешивает ноги в громадных рыжих сапогах.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

**Фу, до чего болит голова!
Всего четвертуху выпил, а глянть —
Во рту, как разжеванная трава,
В мозгу развелась какая-то дрянь.**

(Адъютанту)

А ну, Петрусь, подай огурец!

А д ь ю т а н т

Корку пожуй, — ничего, пройдет.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

**Как ты отвечаешь? Кто военспец!
Руки по швам! Брюхо вперед!
Вечно от пьянства со мной беда...**

(Опанасу)

Эй, незнакомец, поди сюда.

**Где б закусить, отвечай скорей.
Коли штыком! Прикладом отбей!**

О п а н а с

**Я пришел сюда недавно,
Мне хозяйство ново,**

Как мне вам помочь, товарищ,
Не знаю толково.
Народ вы бывалый,
Будьте ласковы, скажите,
Разрешит батько крестьянам
Работать помалу?

А д ъ ю т а н т

Анархия — высший порядок! Она
Не может поставить преград.
Мы вольной работы взрастим семена,
Из дебрей мы сделаем сад.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Легче! Сначала добыть нам надо
Немного пушек, людей в отряды,
Сала шматок, горелки глоток
Да огурец, просоленный впрок.

О п а н а с

А скажите-ка по чести,
Как Махно? Суров он?

А д ъ ю т а н т

Поглядит. Покажет пальцем,
К стенке — и готово!

О п а н а с

Очень уж его боятся
Различные люди.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Все ж Раиса Николавна
Посурьезней будет!

О п а н а с

Кто ж она? Скажите честно,
Жена иль невеста?

А д ъ ю т а н т

В пустынном еврейском местечке,
Где козы, молельня, овраг,
В ночи, на скрипучем крылечке,
Девичий послышался шаг.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Мы думали раньше — шпионка
Вотрется, а после продаст;
Иль просто шальная девчонка,
В дороге ненужный балласт.

А д ъ ю т а н т

Откуда она — неизвестно
Где дом ее? Кто отец?
Помещик ли мелкопоместный?
Фальшивомонетчик? Купец?

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Она жестока доотказа,
Страданья ее не смутят.

А д ъ ю т а н т

А ну-ка, попробуй приказа
Не выполнить — будешь не рад.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Декреты, допросы, расстрелы.
Дела по изъятию зерна,

Рукой молодой загорелой
Подписывает она.
По-моему: дело не чисто.
Недаром, ее увидав,
Лохматые анархисты
Смиряют свой бешеный нрав.

Павла

Да, чортова эта красotka
Тихоня, но лучше не тронь:
По виду она счетоводка,
А глянет — и вспыхнет огонь!

Входит с грохотом Махно, окруженный шта-
бом. Среди штабных Раиса Николаевна, моло-
дая женщина, одетая по городскому,
с портфелем.

Махно

Все в порядке. Мы сегодня
Отдохнем немного,
Кони пожуют, а завтра
Новая дорога.

(Павле)

Ты кого пустила в хату?
Отвечай скорее!

Раиса Николаевна

Гимнастерка да обмотки,
Ясно — продармеец.
Допросить его придется!

Павла

Он жених мой, братцы!

О п а н а с

Мне, батько, теперь, ей-богу,
Некуда деваться.

Р а и с а Н и к о л а е в н а

Будешь отвечать винтовке
Под стеной сарая.
Что ж ты станешь делать дальше?
Говори!

О п а н а с

Не знаю.

Р а и с а Н и к о л а е в н а

Так. Не знаешь. Добровольно
Ты служил в отряде?

О п а н а с

Нет, я был мобилизован.

П а в л а

Бросьте, бога ради!

М а х н о

Брось, Раиса Николаевна.
Ты же, не виляя,
Отвечай: бежал откуда,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?

О п а н а с

Я, батько, бежал из Балты
Да за новой долей.
Ой, грызет меня досада,

Крепкая обида.
Я бежал из продотряда
От Когана-жида.
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище.
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
— Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!
Ну, а кто подымет бучу,
Не шуми, братишка,
Усом в мусорную кучу:
Расстрелять — и крышка. —
Чернозем потек болотом
От крови и пота.
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу.
Мне бы нынче за волами
Пойти, распевая.

М а х н о

У тебя теперь, братишка,
Дорога другая,
У тебя дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!

Р а и с а Н и к о л а е в н а
Как ни вертись, выхода нет:
С нами иль против нас!

Против — так пулю хватай в ответ.
С нами — вперед сейчас!

П а в л а

Подумай, Панько, куда идешь.
Что тебя дальше ждет.
Бахча погибнет,
Засохнет рожь,
Последний вол падет.

М а х н о

Дайте шубу Опанасу
Сукна городского;
Поднесите Опанасу
Вина молодого;
Сапоги подколотите
Кованым железом,
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече
От края до края.

О п а н а с

Шел домой, а стал бандитом!
Как — не понимаю!

Х о р ш т а б н ы х

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне,
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина — мать родная —
Жито молодое.

Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина — мать родная —
Молодое жито.
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь в бандиты.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Внутренность небольшого хутора. Тачанки, колеса, дуги пулеметные станки. Начальник штаба стоит у дверей хаты. Несколько махновцев работают во дворе. За тыном огромная степь. Утро. Солнца не видно.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Проверьте оси. Колеса дегтем
Обмажьте. Крепки ли хомуты?
Подпруги такие, что тронешь ногтем —
И разом разлезутся. Слушай ты,
Григорий! Их надо прошить иглою
На совесть! Ну-ка, поторопись.

П е р в ы й м а х н о в е ц

Успеем. Всегда не даешь покою.
Братва отдыхает, а ты трудишься.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Довольно! Без разговоров, Дмитрий,
Кузов обмой да оглобли вытри.
Петро, зачем разеваешь рот,
Как следует, вычисти пулемет.
Коней подковать да покрасить дуги,
Чтоб пела земля, чтоб дрожал уезд.

Григорий, еще раз проверь подруги:
Бог не выдаст, свинья не съест!

Махновец

(вбегает)

Каких-то красноармейцев трое
Подходят к нашему хуторку.

Начальник штаба

Красноармейцы! Я их накрою.
Как перепела на току.
Убрать пулеметы. Немедля скрыться.
Останутся двое — Петро и ты,
Григорий. У вас аккуратней лица.
Встречайте гостей. Я смываюсь в тыл.

Со стороны степи к хутору подходят Коган
и двое красноармейцев.

Коган

Ребята! Сюда мы не заходили.
Степной хуторок, здесь пшеница есть.
Войдем. Отдохнем от проклятой пыли.
Хозяева, может, дадут поесть.

Первый красноармеец

А все-таки лучше прошли бы мимо.
Здесь, кажется, самое бандитье.

Первый красноармеец

Махорки стрельнуть бы. Ей-ей, без дыму
Совсем уж каторжное житье.

Коган

Пожалуй, войдем.

(Махновцам)

Как здоровье, братцы?
Позвольте малость передохнуть.

Первый махновец
Садитесь.

К о г а н
Сумеем ли мы добраться
До станции нынче?

Второй махновец
Недальний путь.

К о г а н
Так, может быть, можно у вас немного
Поесть да кувшин молока добыть?

Первый махновец
Можно, пожалуй.

Второй красноармеец
А мне, немого,
Хотя бы люльку махрой набить.

Второй махновец
Можно, пойдём.

Махновцы уходят

К о г а н
Да, народ корявый,
Обидел их кто иль просто так.

Первый красноармеец
Об этой округе дурная слава:
Везде бандит, дезертир, кулак.

К о г а н

Смотрите, солнце встает, ребята.
Такое туманное, как в пыли.
Как тянет горечью!

Первый красноармеец
Это мята.

К о г а н

Как травы шумят!

Первый красноармеец
Это ковыли.

Медленно встает солнце.
Махновцы возвращаются.

Первый махновец
Не обессудьте: вот чашка меду.
Житняк да макотра с молоком.

Второй красноармеец
Шамовки столько, что хватит взводу.
А нам и не справиться втроем.

(Едят.)

К о г а н

Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?
Не бывают ли налетом
В хуторах махновцы?

Первый махновец

Ну, что самогон. Без него, конечно,
В крестьянской работе не обойтись.

Второй махновец

Посевы? Какие посевы? Вечно
Налоги, разверстки. Бранись, дерись.

Первый махновец

А что до махновцев, у нас в округе
О них и не слышно. Их нет еще.
Из окна хаты вылезает голова начальника
штаба.

Начальник штаба

Григорий! Куда подевал подпруги?
Пропил, наверно? Давай отчет!

Первый махновец

Сначала справлюсь с большевиками,
Потом рассчитаюсь.

(Орет

На помощь! Гей!

Спрятанные махновцы набрасываются
на красноармейцев.

Второй махновец.

Вот гад, как работает кулаками!

Первый махновец

Хватай его за ноги! Камнем бей!
Веревку! Сюда! Прикрутите руки!
Держи! Навались! Не жалейте рук!

К о г а н

Ребята! Обыкновенные штуки!
Махновские фокусы! Старый трюк!

Из хаты выходит Махно со штабом.
Среди штабных Опанас и Раиса Николаевна.

А д ъ ю т а н т

Табуретку! Все в порядке.
Приведите пленных.

К о г а н

Братцы! Сколько дезертиров,
Рыжих, здоровенных.

М а х н о

Э, да ты остряк, я вижу!
Отвечай же толком:
Почему ты по округе
Бродишь тихомолком?
Почему ты в этот хутор
Сунулся без спросу?
Почему с тобою двое
Кацапов курносых?

К о г а н

Я на станцию шагаю
Дорогой недалней.
Кто я? Я простой закройщик
Из армейской швальни.
Двое отпускных со мною
Из нашей же роты.
Мы за молоком и хлебом
Сунулись в ворота.

Махно

Это правда?

Красноармейцы

Правда. Правда.

Махно

Значит, для почину
Добрых шомполов полсотни
Залепить им в спину.
Наша армия портными
Нынче не богата.
Пусть закройщик при обозе
Шьет штаны ребятам.

Опанас

(тихо Раисе Николаевне)

Вон того, в очках который.
Я знаю немного:
Это комиссар отряда —
Мой начальник Коган.

Раиса Николаевна

Говори! Чего ты медлишь?
Говори скорее!

Опанас

Все-таки я, что ни делай,
Бывший продармеец.

Раиса Николаевна

Говори, когда ты знаешь,
Что это за птица.

О п а н а с

Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться.

К о г а н

У меня на этом свете
Множество знакомых;
Ты ж бежал из продотряда,
Чтоб работать дома.
Твой подсолнух знаменитый,
Видно, повалился,
Как на новую работу
Ты определился.

М а х н о

Коган! Комиссар! Закройщик!
Выдумано ловко.
У тебя к вранью, приятель,
Добрая сноровка!

К о г а н

При чем тут вранье? Действительно, я
Закройщик, каких немного.
Рука выкраивает моя
Костюм для земли убогой.
Он сшит на совесть — этот наряд. —
Руками, как хочешь, двигай,
Его наденет пролетариат,
А вы получите фигу!

М а х н о

Очень здорово! Довольно!
Хватит разговоров.

Разом пуля успокоит
Большевицкий норов.

Раиса Николаевна
Нестор Михалыч, не медля ни часа,
Пошли Опанаса! Пошли Опанаса!

Махно
Правильно! Возьми винтовку,
Выйди за ворота
Да закройщика в яруге
Разменяй в два счета.

Опанас
Что ж, пойдём.

Коган
(красноармейцам)
Прощайте, братцы!
Придется расстаться.
Видно, не поевши, надо
Со света убраться.

Выходят. Махно со штабом входит в хату.

Коган
Я устал. Жара. Не стоит
Уходить далече.
Дай-ка малость потолкуем
Для последней встречи.
Я в предсмертный час покоя
Этими руками
Барахлишко кой-какое
Подарю на память.
Дам тебе картуз хороший,

Кисет для махорки,
Гимнастерку. Мне не надо
Теперь гимнастерки.

(Раздевается.)

Пары брюк не пожалею —
Пригодятся дома,
Все же бывший продармеец,
Хороший знакомый.

О п а н а с

Брось шутить, товарищ Коган,
Для чего мне это?
Повернись ко мне затылком
И глазами к свету.

К о г а н

Предавать умел — умей же
Посмотреть в глаза мне;
Нечего стоять под солнцем
Придорожным камнем.

О п а н а с

Не могу! Сгибает руки
Чортова усталость

(Опускает ружье)

Слушай, Коган: три патрона
В обойме осталось.
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну,
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину.
Не свалю тебя ударом —

Разгуливай с богом;
Будешь снова комиссаром
Летать по дорогам.

К о г а н

(снимает очки и тщательно их протирает)

Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая,
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая.
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные.
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые.
Не уйдешь никак на волю
От банды окрестной,
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной.

Опанас стреляет. Коган медленно падает.
Опанас, опершись на винтовку, склоняется
над ним.

О п а н а с

Больше на село дороги
Мне, убийце, нету.
С горя топчите, ноги,
По белому свету.
За волами шел когда-то,
Воевал солдатом,
Я ли в сахарное утро
В поле вышел катом.
Вижу, кинутая в плясе
Голосит округа:

Опанасе, Опанасе,
Катюга, катюга,
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело!
Павла, горькая невеста,
Рыдай неустанно:
Заросла моя дорога
Кустами бурьяна.
Больше не увижу света,
Мертвый колос высох.

Г о л о с Р а и с ы Н и к о л а е в н ы
Опанас, откликнись! Где ты?

О п а н а с

Я иду, Раиса.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина

Попов лог. В глубине оврага стол, заваленный картами. На столе обыкновенная керосиновая лампа. Ночь. Укрывшись шинелями, спят махновцы на земле вповалку, как половцы. Раиса Николаевна и Опанас сидят в углу. На каждом гребне оврага по часовому. Их черные фигуры темнеют в ночной синеве.

Первый часовой

В зеленом садочке,
У Буга на взгорьи,
Цвети, моя вишня, цвети.

На тихие воды,
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!

Второй часовой
Звезда полевая
Над брошенной хатой,
Дождями размыты пути.
На пламя пожара,
На дым языкатый,
Лети, мое сердце, лети!

Первый часовой
Я крикну: любовь моя,
Выйди из дому,
Я здесь — только двор перейти.
К высокому тыну
На берег знакомый
Лети, мое сердце, лети!

Второй часовой
Порубан отец,
И потоптано жито,
Невесты моей не найти...
На пепел постылый,
На берег размытый
Лети, мое сердце, лети!

О п а н а с
Кончено! Моя дорога
Назад не вернется.
Только плакать остается,
Как выпь у болотца.

Раиса Николаевна
Если нет назад дороги —
Вперед без оглядки.

О п а н а с

Что же впереди: тревоги,
Пожары да схватки.
Никогда уже не буду
Я таким, как прежде.
Кровь на пальцах,
Кровь на сабле
И кровь на одежде.

П е р в ы й ч а с о в о й

На синем Дону
Зацветают черешни,
Сильней, соловейко, свисти!
Над озимью сладкой,
Над пасекой вешней,
Лети, мое сердце, лети!

О п а н а с

Убивал я, не жалея,
Поджигал и грабил,
Я врывался, как безумный,
В перебранку сабель.
И теперь один, покинут,
Весь в крови, обруган,
Я без дома, без невесты,
Без жены, без друга!

Раиса Николаевна
Так не думай. За туманом
Сгнуло былое,

Только птичий крик тачанок.
Только поле злое,
Только сабля запеваёт,
Только мчатся кони,
Только плещется над морем
Чёрный рой вороний!

Второй часовой

На мертвом пороге
Ковыль вырастает,
По трупам домой не пройти.
За граем вороньим,
За галочьей стаей,
Лети, моё сердце, лети!

Шагая через спящих махновцев, проходит Павла. Она ищет Опанаса. Махновцы, лежащие на земле, хватают её за ноги.

Первый махновец

Стой, молодуха! Ложись со мною,
Я козухом тебя всю покрою!

Второй махновец

Сюда! У меня на земле привольно.
Скажу тебе сказку — будешь довольна!

Третий махновец

Эх, небось, от начальника штаба?
Всегда у него, что ни ночь, то баба.

Опанас

Павла? Здесь? Ко мне! Скорее!

П а в л а

Долго я искала!

О п а н а с

Что ж, садись рядком со мною,
Разве места мало?

П а в л а

Ой, Панько, что с тобою случилось?
Почернел ты и похудел.
Видно, в кости вошла усталость,
Видно, запил иль заболел.
Вижу, руки твои ослабли,
Голова твоя тяжела.
Встань! Сломай об колено саблю!
Выйди в степь да покличь вола.
Вся земля в предвесеннем дыме,
Бьют младенческие ручки,
Колокольцами молодыми
Разливаются соловьи.
Выйди в степь и ярмо тугое
На вола своего надень;
От зари и от перегноя
Сладковатый туман и лень.
Черный чуб твой, намокший потом,
Из-под шапки на лоб падет.
Здравствуй, медленный пот работы,
Здравствуй, трудный крестьянский пот!
Как придешь ты перед закатом,
Я под вишней поставлю стол:
Свежей глиной обмажу хату
Да песком пересыплю пол.
Я еду тебе приготавлию,

Слаще той, что ты здесь едал.
Ты мне скажешь, войдя под кровлю:
Слушай, Павла, наш час настал!
Ставни стукнули. Тише. Тише.
Никого. Только я и ты.
Только аист скрипит на крыше,
Да за тыном кричат коты.
А захочет рассвет белесый
В нашу горенку заглянуть,
На затылке скручу я косы,
Под сорочку упрячу грудь,
И мы выйдем с тобою в поле,
Мы вдвоем — только ты да я
Здравствуй, радостная до боли,
Набухающая земля!

О п а н а с

Я пойду с тобой. Я снова
Возвращусь в деревню.

Р а и с а Н и к о л а е в н а

Опанас! Опять работа!
Овцы, куры, певни,
Прошибет тебя до пота
Едкий зной весенний.
Ты в обед поставишь миску
С тюрей на колени,
Чтобы, не доев, за плугом
Двинуться с волами.
Гей, Панько! Ужель ты хочешь
Распрощаться с нами?
В берег грянули с размаху
Реки молодые.

Ржут, почуяв дух полыни,
Кони боевые.
Степь весенняя дымится
Рыжими цветами,
Закипает соловьями,
Клекчет беркутами.
И тачанки наши стонут,
И грохочут бубны,
И повстанцев погоняет
Дикий голос трубный.
И с бичом, летящим косо,
В синеву и пламя,
Я несусь простоволосой,
И взрываются колеса
Где-то под ногами.
И припав к луке высокой,
Пригибая травы,
Опанас, ты скачешь сбоку
С пашкою кровавой.
Гей, весна! Стучат копыта!
Ветер! Ветер! Ветер!
Все пропето! Все пропито!
Никого на свете!

О п а н а с

Я б остался. Только дома
Побывать мне надо.

П а в л а

Дай мне руку. За холмами
Звезды и прохлада.
И, дыша прохладой этой,
Мы пойдем лугами.

Р а и с а Н и к о л а е в н а
Брось ее! Панько, не сетуй!
Оставайся с нами.
Ты пойдешь одна. Довольно!
К чорту причитанья!

П а в л а
Собирайся. Нас в дороге
Подвезут крестьяне.
Завтра утром, перед солнцем,
Мы войдем в ворота.

Р а и с а Н и к о л а е в н а
Поболтала! Хватит! Баста!
Уходи в два счета!

П а в л а
Не пойду!

Р а и с а Н и к о л а е в н а
Пойдешь!

П а в л а
Н и ш а г у
Не ступлю одна я!

О п а н а с
Уходи отсюда, Павла,
Уходи, родная!

П а в л а
Я уйду с тобою вместе,
Я пришла недаром!

Раиса Николаевна
(*выхватывает саблю, висящую на боку
у Опанаса*)

**Нет?! Так вот твоей невесте
Свадебный подарок!**
(*Рубит Павлу.*)

Первый часовой
У синего Дона,
В садочке, на взгорьи,
Цвети, моя вишня, цвети!
На тихие воды,
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!

Действие переносится к столу, за которым
работают Махно и штабные.

Адъютант
Надо биться доотказа —
Все равно догонит.

Первый штабной
У Котовского, конечно,
Притомились кони.

Второй штабной
Притомиться — притомились,
Но ударят славно.

Махно
Дай, послушаем, что скажет
Наш начальник главный.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а

Надобно с большевиками
Нам принять сражение:
Покрутись перед полками,
Дай распоряжение.

М а х н о

Если драться, так уж драться!
Нынче спозаранок
Я ударю на комбрига
Армией тачанок.

(Адъютанту)

Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днище.
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели,
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!

С воза по длинной дощатой сходне
скатывают бочку.

М а х н о в ц ы

Зовите завхоза! Сюда, завхоз!
Выкатывай бочку! Тяни взасос!
Громи прикладом! Еще! Не в счет!
Пошла... Еще раз! Течет! Течет!

Течет! Течет! Котелок давай!
Я прямо в шапку! Крепка! Ув-ва!
До чортиков напился,
В траву повалился.
Лежи в траве, повстанец, —
Окончился танец,
Хоть вылужена глотка,
Да простна водка.
Лежи, раскинув ноги,
У самой дороги.

Махновцы

(подходят к Махно)

Батько, вчера, как взошла заря,
В плен захватили мы кобзаря,
Стар до того, что башкой трясет...
Привести его, что ли? Пускай споет.

Махно

Приведите его.

Махновцы

Он идет сюда.

Белая свитка! Слепой! Борода!
Кобза на ремне! Смотри! Поводырь...
У парубка очи ясней воды...

Кобзарь

Куда я пришел? Не слышу базара.
Здесь дух такой, как после пожара.
Не слышу базара... Волон не слышу.
Здесь пахнет железом. Здесь водкой
дышат!

Где я? Здесь бабы не гомонят.
Хлопец! Куда ты привел меня?

Махно

Спой, старик, нам по-казачьи
О нашей удаче.

Старик садится на камень и кладет кобзу
на колени. Хлопец с подстриженной чолкой
становится рядом с ним.

Кобзарь

Пшеница шумит
Перед близкой бедой,
Струится в ушаты
Кровавый удой...
О, горе нам, горе!
Предсмертные зори
Чадят головней
Над сожженной землей.
Зачем, Украина, ты в сумрак идешь?
О ком ты рыдаешь?
Кого еще ждешь?
Твой волос посекеся.
Иссохли сосцы.
В корявые ноги
Вонзились волчцы.
Деникин стегал тебя
Плетью тугой,
Пиная тебя гетман
Дворянской ногой.
И с черным туманом
Прошел ураганом
Петлюра над бедной
Твоей головой...
Махно угонял
Перепуганный скот,

Вымаривал
Смертной горилкой народ.
Весь мир наизнанку!
Взлетай на тачанку!
Ложись к пулемету!
И — кони вперед!
Кружится, пыля,
Под ногами земля,
Свистят тополя,
И пожары ревут...
И нет, Украина,
Пощады тебе.
Твой дом опозорен,
И проклят твой труд.

Махно

Вот раскаркался, проклятый,
Чего ему надо?

Махновцы

Ну и песня! В ней, ей-богу,
Ни складу, ни ладу.

Начальник штаба

Пей, ребята, перед боем,
Ешь, ребята, крепче.
Нечего, ребята, слушать,
Что бродяга шепчет.

Вокруг бочек собирается все больше и больше народу. Какие-то нелепые фигуры пляшут.
Часовые спускаются вниз.

Первый часовой

Меня качала в зыбке мать,
Меня слеза ее прожгла,

Уж никогда не вылезать
Мне из казачьего седла.

Второй махновец
От пламени, как днем, светло.
За речкой пулеметы бьют,
Горит родимое село,
Где петухи мои поют.

Первый часовой
Покуда пуля не пробьет,
Иди вперед! Иди вперед!

Второй часовой
Покуда сабельный удар
Наотмашь не сразит меня,
В ночной набег, в степной пожар
Гони коня! Гони коня!

Первый часовой
Меня крестьяне проклянут:
Убийца! Лодырь! Конокрад!
Глаза крестьянки отвернут:
Постылый! Уходи назад!

Второй часовой
Мой труп полынью зарастет.
Вокруг меня черным-черно,
И ворон весть не принесет
К моей невесте под окно.

Махновцы

Пей, не жалея!
Жри доотвала!

Гей, да зозуля закуковала!
Бабу бы надо!
Лошадь бы надо!
Водки нажрался —
Дрыхни, как падаль!
Бочку выкатывай!
Бочку! Бочку!
Значит, пропляшем целую ночьку.
Так и умрешь...
Рванный да пьяный.
Выпьем, ребята, за атамана!

Расталкивая народ, вбегает махновец.

Ма х н о в е ц

Где батько?

Ма х н о в ц ы

Гуляет где-то.

Ма х н о в е ц

Где начальник штаба?

Ма х н о в ц ы

Завалился спозаранок
Под телегу с бабой.

Ма х н о в е ц

Стойте! Слушайте, ребята!
От воды днестровской
Через Черный Виноградник
Двинулся Котовский.
Он прошел уже Затишье,
Житняки и Дубы...

Хлопцы, слышите над стенью
Трубы, трубы, трубы...

Звучат заглушенные расстоянием трубы
Котовского.

Махновцы

Котовский! Котовский!
... Кончайте пьянку...
... Где батькин стол?
Запрягай тачанку...
Котовский... Котовский...
Огонь... Погоня...
Где часовые?
Котовский... Кони...
... Котовский... Труба...
Командиры к бою!
Труба... Трубы...
О трубе... Трубою...

На бочку взбирается Махно.

Махно

Без волынки! К пулеметам!
По команде сразу
Передать приказ по ротам
Биться доотказу!

Голоса

Где пулеметчики?
Спят вповалку...
Где пулеметы?
Свалились в балку.
Огонь! Огонь!
Передать по ротам!

... Котовский.
Не пьяные к пулеметам.
... Котовский... Труба...
Командиры к бою!
Труба... Трубы...
О трубе... Трубою...

Кобзарь, не замеченный никем, появляется снова. Он садится на камень, кладет кобзу на колени. Парубок становится рядом с ним.

К о б з а р ь

Проснись, бедолага,
Проснись, не дремли.
Армейские кони
Заржали вдали.
От окрика сына
Вставай, Украина,
Сын в бурке косматой
До самой земли.

Трубы Котовского трубят тревогу.

Играет нагайкой
Червоный казак,
Широкою рысь
Переводит на шаг.
Из стремени ногу
И — прыг на дорогу,
Целует глаза,
Где слезящийся мрак...

(Трубы Котовского трубят рысь:

«Рысью размахистой,
Но не распущенной
Для сбереженья коней!»)

Гей, мать, подымайся!
Скликай сыновей,
Из мертвых домов,
От несжатых полей,
С Карпатских нагорий
До Чернова моря,
От киевских роц
До херсонских бакчей.

(Трубы Котовского играют галоп:

«Ну в галоп, в поводья, конь,
И шенкель ему в бок,
Собирайся, конь, совсем
В клубок!»)

Смотри, как встают они,
Злостью горя,
Жнецы, кузнецы,
Чабаны, слесаря,
В холщевых рубахах,
В бараньих папахах,
Затылок скребя
И махорку курия.

(Трубы Котовского трубят карьер:

«Скачи, лети стрелой!»)

Я слышу их голос,
Я слышу их шаг,
Они за холмом,
Они входят в овраг.

Трубы Котовского играют «правое плечо вперед»

«Ну, правым плечом дружно
На левый фронт врага!»

Вторая картина

Комната в штабе. За окном празднично убран-
ный провинциальный южный городок. Штаб-
ной сидит за столом. Два красноармейца
приводят Опанаса.

Штабной

Разрешите папиросу,
Чаю, не хотите ль?
Сколько лет вам? Вы какого
Поселенья житель?

Опанас

Что с Махно?

Штабной

Бежал к румынам.

Опанас

Армия?

Штабной

Разбита.

Больше бешеные кони
Не потопчут жито.

За окном музыка. По улицам проходят
красноармейские части.

Опанас

В городе народ, тревога,
Музыка и ржанье.

Штабной

Украине на подмогу
Вышли северяне.

Штабной подходит к окну.

Москвичи в суконных шлемах,
Петроградцев роты,
На боках коней башкирских
Виснут пулеметы.

Музыка. Штабной подходит к столу.

Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною,
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною!
Говорите без обмана,
Не испуга ради,
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Говорите, но не сразу,
А подумав малость,
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?

О п а н а с

Что я знал! Коня. Подпругу.
Саблю да поводья.
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами.
Украина — мать родная,
Билась под конями.
Как мы шли в колесном гrome,
Так что небу жарко,
Помнит Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка.
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога.

Одного не позабуду:
Как скончался Коган.
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги.
Ну, штабной! Мотай башкою,
Придвигай чернила,
Этой самою рукою
Когана убило!
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито...

Ш т а б н о й

Гражданин! Надеюсь, боле
Ничего не скрыто.
Все рассказано, как надо.
Распишитесь с края.
Так. Вот здесь!

О п а н а с

Еще немного!
Я припоминаю:
Он качнулся, понемногу
Оседая в травы.
Посинел. По окулярам
След прошел кровавый.
И еще припоминаю:
Часовые пели,
Кровью вымокла рубашка
На девичьем теле.

Мимо окна конвоиры проводят Раису Николаевну. Она слышит голос Опанаса. Останавливается. Часовые подталкивают ее.

Раиса Николаевна
Опанас!

Опанас
Она! Раиса!

Штабной
Гражданин! Ни шагу!

Раиса Николаевна
(*ее не видно, доносится только голос*)

Где ты, Опанас!

Штабной
Ни с места!

Опанас
Отдавай бумагу!
(*Рвет допрос*)

Я иду к тебе, Раиса!
Подожди немного.

Голос Раисы Николаевны
Опанас!

Опанас бросается к окну.

Штабной
Стреляйте, хлопцы!
Погибай, небого!

Пауза. Потом музыка. По улице проходит
красноармейская часть.

ПЕСНЯ

Как с востока дунул ветер
Буревой,
Закружилось все на свете,
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день. Земля в пожаре.
Подымайся, пролетарий!

1933

Посмертные стихи

ФЕВРАЛЬ

Вот я снова на этой земле.
Я снова
Прохожу под платанами молодыми,
Снова дети бегают у скамеек,
Снова море лежит в пароходном дыме.

Вольноопределяющийся, в погонах,
Обтянутых разноцветным шнуром, —
Это я — вояка, герой Стохода,
Богатырь Мазурских болот, понуро
Ковыляющий в сапогах корявых,
В налезавшей за затылок шапке...

Я приехал в отпуск, чтоб каждой мышцей,
Каждой клеточкой принимать движенье
Ветра, спутанного листвою,
Голубиную теплоту дыхания
Загорелых ребят, перебежку пятен
На песке и соленую нежность моря...

Я привык уже ко всему: оттуда,
Откуда я вырвался, мне обычным
Казался мир, прожженный снарядом,
Пробитый штыком, окруженный туго

Колочей проволокой, постыло
Воняющий потом и кислым хлебом...

Я должен найти в этом мире угол,
Где на гвоздике чистое полотенце
Пахнет матерью, подле крана — мыло.
И солнце, бегущее сквозь окошко,
Не обжигает лицо, как уголь...
Вот снова я на бульваре.

Снова

Иван-да-Марья цветет на клумбах,
Человек в морской фуражке читает
Книгу в малиновом переплете;
Девочка в юбке выше колена
Играет в дьяболо; на балконе
Кричит попугай в серебряной клетке.

И я теперь среди них как равный,
Захочу — сижу, захочу — гуляю,
Захочу (если нет вблизи офицера) —
Закурю, наблюдая, как вьется плавный
Лист над скамейками, как летают
Ласточки мимо часов управы...

Самое главное совершится
Ровно в четыре.

Из-за киоска

Появится девушка в пелеринке, —
Раскачивая полосатый ранец.
Вся будто распахнутая дыханью
Прохладного моря, лучам и птицам,
В зеленом платье из невесомой
Шерсти, она вливается, как в танец,

В круженье листьев и в колыханье
Цветов и бабочек над газоном.
Домой из гимназии...

Вместе с нею —
Откуда-то, из позабытого мира,
Кружась, летят звонки перемены,
Шопот подруг, ангелок с тетради
И топот учителя в коридоре.
Пред ней платаны поют, а сзади
Ее, хрипя, провожает море...

Я никогда не любил, как надо...
Маленький иудейский мальчик —
Я, вероятно, один в округе
Трепетал по ночам от степного ветра.
Я, как сомнамбула, брел по рельсам
На тихие дачи, где в колючках
Крыжовника или дикой ожины
Шелестят ежи и шипят гадюки,
А в самой чаще, куда не влезешь.
Шныряет красноголовая птичка
С песенкой тоненькой, как булавка,
Прозванная «Воловьим глазом»...

Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом — я сам не знаю!

Крепче Майн-Рида любил я Брэма!
Руки мои дрожали от страсти,
Когда наугад раскрывал я книгу..
И на меня со страниц летели
Птицы, подобные странным буквам,

Саблям и трубам, шарам и ромбам.
Видно, созвездье Стрельца застряло
Над чернотой моего жилища,
Над пресловутым еврейским чадом
Гусиного жира, над зубрежкой
Скучных молитв, над бородачами
На фотографиях семейных...

Я не подглядывал, как другие,
В щели купален.

Я не старался
Сверстницу ущипнуть случайно...
Застенчивость и головокруженье
Томили меня.

Я старался боком
Перебежать через сад, где пели
Девочки в гимназических платьях...

Только забывшись, не замечая
Этого сам, я мог безраздумно
Туно смотреть на голые ноги
Девушки.

Стоя на табурете,
Тряпкой она вытирала стекла...

Вдруг засвистело стекло по-птичьи —
И предо мной разлетелись кругом
Золотые овсянки, сухие листья,
Болотные лужицы в незабудках,
Женские плечи и птичьи крылья.
Посвист полета, журчанье юбок.
Щелканье соловья и песня
Юной соседки через дорогу, —

И, наконец, все ясней, все чище,
В мире обычаев и привычек,
Под фонарем моего жилища
Глаз соловья на лице девичьем...
Вот и сейчас, заглянув под шляпу,
В слабой тени я глаза увидел.
Полные соловьиной дрожи,
Они, покачиваясь, проплывали
В лад каблукам, и на них свисала
Прядка волос, золотясь на коже...

Вдоль по аллее, мимо газона.
Шло гимназическое платье,
А в сотне шагов за ним, как убийца,
Спотыкаясь о скамьи и натываясь
На людей и деревья, шепча проклятья.
Шел я в больших сапогах, в зеленой
Засаленной гимнастерке, низко
Остриженный на военной службе.
Еще не отвыкший сутулить плечи —
Ротный лочило, еврейский мальчик...

Она заглядывала в витрины,
И среди прозрачных шелков и склянок
Таинственно, не по-человечьи,
Отражалось лицо ее водяное...
Она останавливалась у цветочниц,
И пальцы ее выбирали розу,
Плававшую в эмалированной миске,
Как маленькая махровая рыбка.

Из колониального магазина
Потягивало жженым кофе, корицей,
И в этом запахе, с мокрой розой,

Над ворохами листвы в корзинах,
Она мне казалась чудесной птицей,
Выпорхнувшей из книги Брэма.

.
А я уклонялся, как мог, от фронта...
Сколько рубликов перелетало
Из рук моих в писарские руки!
Я унтеров напайвал водкой.
Тащил им папиросы и сало...
В околодок из околодка,
Кашляющий в припадке плеврита,
Я кочевал.

Я пыхтел и фыркал,
Плевал в бутылки, пил лекарство,
Я стоял нагишом, худой и небритый.
Под стетоскопами всех комиссий...

Когда же мне удавалось правдой
Или неправдой — кто может вспомнить? —
Добыть увольнительную записку,
Я начищал сапоги до блеска,
Обдергивал гимнастерку — и бойко
Шагал на бульвар, где в платанах пела
Голосом обожженной глины
Иволга, и над песком аллеи
Платье знакомое зеленело,
Покачиваясь, как дымок недлинный...
Снова я сзади тащился, млея,
Ругаясь, натываясь на скамьи...
Она входила в кинематограф,
В стрекочущую темноту, в дрожанье
Зеленого света в квадратной раме.
Где женщина над погасшим камином

Ломала руки из алебастра,
И человек в гранитном пластроне
Стрелял из безмолвного револьвера...

Я знал в лицо всех ее знакомых,
Я знал их повадки, улыбки, жесты.
Замедленный шаг их, когда нарочно
Стараяешься грудью, бедром, ладонью
Почувствовать через покров непрочный
Тревожную нежность девичьей кожи...
Я все это знал...

Улетали птицы...

Высыхала трава...

Погибали звезды...

Девушка проходила по свету,
Собирая цветы, опустив ресницы...
Осень...

Дождями пропитан воздух.

Осень...

Грусти, погибай и сетуй!

Я сегодня к ней подойду.

Я встану

Перед ней.

Я не дам ей свернуть с дороги.

Достаточно беготни.

(Мужайся!)

Возьми себя в руки.

Кончай волынку!

Заколочен киоск...

У часов управы

Суетятся голуби.

Скоро — четыре.

Она появилась за час до срока, —

Шляпа в руках...

Рыжеватый волос,
Просвеченный негреющим солнцем,
Реет у щек...

Тишина.

И голос
Синицею затерянной в этом мире...
Я должен к ней подойти.

Я должен
Обязательно к ней подойти.

Не думай,
Встряхнись — и вдогонку.

Довольно бреда!..
А ноги мои не сдвигались с места,
Как будто каменные.

А тело
Как будто приковалось к скамейке.
И встать невозможно...

Бездельник! Шляпа!
А девушка уже вышла на площадь,
И в темносером кругу музеев
Платье ее, летящее с ветром.
Казалось тоньше и зеленее...
Я оторвался с таким усилием,
Как будто накрепко был привинчен
К скамье.

Оторвался — и без оглядки
Выбежал за нею на площадь.
Все, о чем я читал ночами,
Больной, голодный, полуодетый, —
О птицах с нерусскими именами,
О людях неизвестной планеты,
О мире, в котором играют в теннис.

Пьют оранжад и целуют женщин, —
Все это двигалось предо мною,
Одетое в шерстяное платье,
Горящее рыжими завитками,
Покачивающее полосатым ранцем,
Перебирающее каблучками...
Я положу на плечо ей руку:
«Взгляни на меня!

Я — твое несчастье!

Я обрекаю тебя на муку
Неслыханной соловьиной страсти!
Остановись!..»

Но за поворотом —
В двадцати шагах зеленеет платье.
Я ее догоняю.

Еще немного
Напрягусь — мы зашагаем рядом...
Я козыряю ей, как начальству.
Что ей сказать? Мой язык бормочет
Какую-то дребедень:

— Позвольте...

Не убегайте... Скажите, можно
Вас проводить? Я сидел в окопах!.. —
Она молчит.

Она даже глазом
Не поведет.

Она убыстряет
Шаги.

А я рядом бегу, как нищий.
Почтительно нагибаясь.

Где уж
Мне быть ей равным!..

Я как безумный

Бормочу какие-то фразы сдуру...
И вдруг остановка...

Она безмолвно

Поворачивает голову — я вижу
Рыжие волосы, сине-зеленый
Глаз и лиловатую жилку
На виске, дрожащую в напряженьи...
— Уходите немедленно, — и рукою
Показывает на перекресток...

Вот он —

Поставленный для охраны покоя —
Он встал на перепутьи, как царство
Шнуров, начищенных блях, медалей,
Задвинутый в сапоги, а сверху —
Прикрытый полицейской фуражкой.
Вокруг которой кружат в сияньи,
Желтом и нестерпимом до пытки.
Голуби из святого писанья
И тучи, закрученные как улитки...
Брюхатый, сияющий жирным потом
Городовой.

С утра доотвала

Накачанный водкой, набитый салом...

.
Студенческие голубые фуражки;
Солдатские шапки, треухи, кепи;
Пар, летящий из мерзлых глоток;
Махорка, гуляющая столбами...
Круговорот полушубков, чуек,
Шинелей, воняющих кислым хлебом.
И на кафедре, у большого графина —
Совсем неожиданного в этом дыме —

Взволнованный человек в нагольном
Полушубке, в рваной косоворотке
Кричит сорвавшимся от напряженья
Голосом и свободным жестом
Открывает объятия...

Большие двери
Распахиваются.

Из февральской ночи
Входят люди, гримасничая от света,
Топчутся, отряхают иней
С полушубков — и вот они уже с нами,—
Говорят, кричат, поднимают руки,
Проклинают, плачут.

Сопенье, кашель,
Толкотня.

На хорах трещат перила
Под напором плеч.

И, взлетая кверху.
Пятерни в грязи и присохшей крови
Встают, как запачканные, светила...
В эту ночь мы пошли забирать участок..
Я, мой товарищ студент и третий —
Рыжий приват-доцент из эсеров.
Кровью мужества наливается тело,
Ветер мужества обдувает рубашку.
Юность кончилась...

Начинается зрелость...
Грянь о камень прикладом! Сорви
фуражку!

Облик мира меняется.

Нынче утром
Добродушно шумели платаны.

Море

Поселилось в заливе.

На тихих дачах
Пели девушки в хороводах.

В книге
Доктор Брэм отдыхал, прислонив
централку

К валуну.

Мой родительский дом светился
Язычками свечей и библейской кухней...
Облик мира меняется...

Этой ночью
Гололедица покрывает деревья.
Сучья лезут в глаза, как живые.

Море
Опрокинулось над пустынным бульваром.
Пароходы хрипят, утопая.

Дачи
Заколочены.

На пустынных террасах
Пляшут крысы.

И, Брэм, покидая книгу,
Подымает ружье на меня с угрозой...
Мой родительский дом разворван.

Кошка
На холодной плите поднимает лапки...
Юность кончилась нынче... Покой
далече...

Ноги шлепают по воде.

Проклятье!
(Подыми) воротник и закутай плечи!
Что же! Надо итти!

Не горюй, приятель!

Дождь.

Суетливая перебранка
Воронья на акациях.

Дождь.

Из прорвы
Катящие в ацетиленовом свете
Мотоциклисты.

И снова черный
Туннель — без конца и начала.

Ветер,
Бегущий неизвестно куда.

По лужам
Шагающие патрули.

И снова —

Дождь.

Мы одни — в этом мокром мире.
Натыкаясь на тумбы у подворотен.
Налезая один на другого, камнем
Падая на мостовую, в полночь
Мы добрали до участка...

Вот он,
Каменный ящик, закрытый сотней
Ржавых цепей и пудовых крючьев —
Ящик, в который понабивались
Лихорадка, тифозный озноб, знойный
Бред, бормотанье молитв и песни...
Херувимы, одетые в шаровары,
Стояли подле ворот на страже,
Словно усатые самовары,
Один другого тучней и рыжей...
Откуда-то изнутри, из прорвы,
Шипящей дождем, вырывался круглый
Лошадиный хрип и необычайный

Заклинательный клич петуха...

Привратник

Нам открыл какую-то щель.

И снова

Загremели замки, закрывая выход...

Мы прошли по коридорам, похожим

На сновиденья.

Кривые лампы

Качались над нами.

По стенам кверху,

К продавленному потолку, взбегали,

Сбиваясь в комки, раскрутятся в спирали,

Косые тени.

На длинных скамьях,

Опершись подбородками на эфесы

Сабель, похрапывали городовые...

И весь этот лабиринт сходился

К дубовым воротам, на которых

Висела квадратная карточка: «Пристав»!!.

Розовый, в лазоревых бакенбардах,

Разлетающихся от легчайшего дуновенья.

Подобно ангелу с гимназической тетради,

Он витал над письменным прибором,

Сработанным из шрапнельных стаканов.

Улыбаясь, тая, изнемогая

От радушия, от нежности, от счастья

Встречи с делегатами комитета...

А мы... стояли, переминаясь

С ноги на ногу, пачкая каблуками

Невероятных лошадей и попугаев,

Вышитых на ковре...

Нам, конечно,

Было не до улыбок.

Довольно...

Сдавай ключи — и катись отсюда к чорту!
Нам не о чем толковать.

До свиданья...

Мы принимали дела.

Мы шлялись

По всем закоулкам.

В одной из комнат

В угол навалены были грудой,
Как картофель, браунинги и наганы.
Мы приняли их по счету.

Утром,

Полусонные, разомлев от ночной работы,
Запачканные участковой пылью,
Мы добыли арестантский чайник —
Жестяной, заржавленный, и пили,
Обжигаясь и шлепая губами,
Первый чай победителей, чай свободы...
Голубые дожди омывали землю.
По ночам уже начиналось тайно
Мужественное цветенье каштанов —
(Просыхала земля...)

Разогретой солью

Дуло с берега...

В раковине оркестра,

Потерявшейся в гуще платанов,
Марсельеза, приподнятая смычками,
Исчезала среди фонарей и листьев.
Наша улица, вымытая до блеска
Летним ливнем, улетала к заливу,
Подымавшемуся, как забор зеленый —
Строй платанов, вытянутый на диво.

И на самом верху, в завитушках пены,
Чуть заметно покачивался картонный
Броненосец «Синоп».

И на сизой туче
Червяком огня извивался вымпел...
Опадали акации.

Невидимкой

Дух гниющих цветов пробирался в море,
И матросы отплясывали в обнимку
С полногрудыми девками из слободки.
За рыбачьими куренями, на склонах
Перевалов, поросших клочкастой мятой.
Под разбитыми шляпками, у снесенных
Купален, отчаянные ребята —
Дезертиры в болтающихся погонах —
Дулись в двадцать одно, в караса, в
солдата,

А в пещере посапывал, как теленок,
Змеевик самогонного аппарата.
Я остался в районе...

Я стал работать

Помощником комиссара...

Вначале

Я просиживал ночи в сырых дежурках,
Глядя на мир, проходивший мимо,
Чуждый мне, как явления иной природы.
Из косых фонарей, из густого дыма
Проступали невиданные уроды...
Я старался быть вездесущим...

В бричке

Я толкся по деревенским дорогам
За конокрадами.

Поздней ночью

Я вылетал на моторной гичке
В залив, изогнувшийся черным рогом
Среди камней и песчаных кочек.
Я вламывался в воровские квартиры.
Воняющие пережаренной рыбой,
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарем и револьвером, окруженный
Четырьмя матросами с броненосца...
(Еще юными. Еще розовыми от счастья.
Часок не доспавшими после ночи.
Набекрень — бескозырки. Бушлаты —
настежь.)

Карабины под мышкой. И ветер — в очи.)
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая доотказа...
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы, и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь...

Я вздрогнул.

Звонок телефона

Скрежетнул у самого уха...

— Комиссара? Я. Что вам? —

И голос, запрятанный в трубке,
Рассказал мне, что на Ришельевской,
В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,

Петька Камбала и Моня Бриллианщик,
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа...
Они летали по вагонным крышам,
В крылатках, раздуваемых бурей,
С револьвером в рукаве фрака,
Обнимали сторублевых гурий,
И нынче у генеральши Клеменц —
Им будет крышка.

Баста!

В караулке ребята с броненосца
Пили чай и резались в пашки.
Их полосатые фуфайки
Морщились на мускулатуре...
Розовые розоватостью детства,
Большерукие, с голубыми глазами,
Они передвигали пешки
Восторженно с места на место,
Моргали, шевелили губами,
Задумчиво, без малейшей усмешки,
Подпевали, притоптывая каблуками...

Мы взгромоздились на дрожки,
Обнимая за талии друг друга,
И остроугольная кляча
Потащила нас в теплую темень...

Нужно было сунуть револьвер
В щелку ворот, чтобы дворник,
Зевая и подтягивая брюки,

Открыл нам калитку.

(Молча)

Мы вошли по красной дорожке,
Устилавшей лестницу.

К двери

Подошел я один.

Ребята,

Зажав меж колен карабины,
Вплотную прижались к стенке.

Все, как в тихом приличном доме...

Лампа с темносиним абажуром
Над столом семейным.

Гардины,

Стулья с мягкой спинкой.

Пианино,

Книжный шкаф, на шкафе — бюст

Толстого.

Доброта домашнего уюта
В теплом воздухе.

Над самоваром

Легкий пар.

На чайнике накидка

Из плетеной шерсти — все в порядке...

Мы вошли, как буря, как дыханье
Черных улиц, ног не вытирая
И не сняв бушлатов.

Нам навстречу,

Кланяясь и потирая нервно
Руки в кольцах, выкатилась дама
В парике, засыпанная пудрой,
Жирная, с отвислыми щеками...
— Антонина Яковлевна Клеменц!

Это вы? Мы к нам пришли по делу, —
Я сказал, распахивая двери...

За столом велась беседа.

Трое

Молодых людей в земгусарской форме.

Барышни, смеющиеся скромно.

На столе — пирожные, конфеты,

Я вошел и стал в изумленьи...

Чорт возьми! Какая ошибка!

Какой это чайный домик!

Друзья собрались за чаем.

Почему же я им мешаю?

Мне бы тоже сидеть в уюте,

Разговаривать о Гумилеве,

А не шляться по ночам, как сыщик,

Не врываться в тихие семейства,

В поисках неведомых бандитов...

Но какой-то из моих матросов

Подошел к столу — и мрачным басом

Проворчал:

— Вот этих трех я знаю.

Руки вверх!

Берите их, ребята!..

Где четвертый?.. Барышни, в сторонку!..

И пошло.

И началось.

На совесть

У роскошных земгусар мы сняли

Кобуры с наганами.

Конечно,

Это были те, за кем мы гнались...

Мы загнали их в чулан.

Закрыли —

И приставили к ним караул.

Мы толкали двери.

Мы входили

В комнаты, наполненные дрянью...

Воздух был пропитан душной пудрой,

Человечьим семенем и сладкой

Одурью ликера.

Сквозь томленьё

Синего тумана пробивался

Разомлевший, еле-еле видный

Отсвет фонаря .. (как через воду).

На кровати, узкие, как рыбы,

Двигались тела под одеялом...

Голова мужчины подымалась

Из подушек, как из круглой пены...

Мы просматривали документы,

Прикрывали двери, извиняясь.

И шагали дальше.

Снова сладким

Воздухом нас обдавало.

Снова

Подымались головы с подушек

И ныряли в шелковую пену...

В третьей комнате нас встретил парень

В голубых кальсонах и фуфайке.

Он стоял, расставив ноги прочно,

Медленно покачиваясь торсом

И помахивая, как перчаткой,

Браунингом... Он мигнул нам глазом:

— Ой! Здесь целый флот! Из этой пушки

Всех не перекоцаешь. Я сдался... —

А за ним, откинув одеяло,
Голоногая, в ночной рубашке,
Сползшей с плеч, кусая папироску.
Полусонная, сидела молча
Та, которая меня томила
Соловьиным взглядом и полетом
Туфельек по скользкому асфальту...
— Уходите! — я сказал матросам. —
Кончен обыск! Заберите парня!
Я останусь с девушкой! —

Громоздко

Постучав прикладами, ребята
Вытеснились в двери.

Я остался

В душной полутьме, в горячей дреме
С девушкой сидящей на кровати...
— Узнаете? — но она молчала,
Прикрывая легкими руками
Бледное лицо.

— Ну что, узнали? —

Тишина.

Тогда со зла я брякнул:
— Сколько дать вам за сеанс? —

И тихо.

Не раздвинув губ, она сказала:
— Пожалей меня! Не надо денег... —
Я швырнул ей деньги.

Я ввалился,

Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегивая гимнастерки,
Прямо в омут пуха, в одеяло,
Под которым бились и вздыхали
Все мои предшественники, — в темный

Неразборчивый поток видений,
Выкриков, развязанных движений,
Мрака и неистового света...
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться, —
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.
Будут ливни, будет ветер с юга,
Лебедей влюбленное ячанье.

1933

СОДЕРЖАНИЕ

И. Гринберг. Эдуард Багрицкий 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ранние стихи

Суворов	47
Гимн Маяковскому	50
Трактир	52
Александру Блоку	64
Сказание о море, матросах и летучем Голландце	66
Баллада о Виттингтоне	77
Большевики	80
Одесса	87

Юю-запад

I

Птицелов	90
Тиль Уленшпигель	93
Ночь	96

II

Песня о рубашке	100
Джон Ячменное Зерно	103
Разбойник	106

III

Арбуз	113
Контрабандисты	116

IV

Осень	119
Бессонница	121
Весна	124

V

Голуби	127
Дума про Опанаса	132

VI

Стихи о соловье и поэте	149
«От черного хлеба и верной жены»	152
Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым	154
Трясина	159
Папиросный коробок	166

Победители

Происхождение	169
Surginus Surgio	172
Весна, ветеринар и я	177
Стихи о себе	180
Встреча	185
Можайское шоссе	189
Вмешательство поэта	191

ТВС	195
Веселые нищие	200

Последняя ночь

Последняя ночь	212
Человек предместья	221
Смерть пионерки	229
Дума про Опанаса (Либретто оперы)	236

Посмертные стихи

Февраль	290
-------------------	-----

Ответств. редактор В. Друзи в.
Технич. редактор А. Кирнар-
ская. Корректор Р. Бекет-
това. Художник В. Двораков-
ский. Лениблгорлит №2370. СП-
64/Л. Тираж 10000. Сдано в набор
31/І 1940 г. Подписано в печати
19/V 1940 г. Печ. л. 5. Уч.-изд.
л. 15,89. Бум. л. 2¹/₂. Форм. бум.
72×110/64. Колич. зн. в 1 бум. л.
149000. Отпечатано в тип. „Ленин-
градская Правда“, Ленинград,
Социалистическая, 14. Заказ № 819.

5 р. 25 к. Переплет 1 р. 25 к.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
34	13 сверху	дыряный	дырявый
155	17 сверху	за	да
187	9 снизу	говорит	говорит
290	11 снизу	за	на

Э. Вагрицкий.

